



ЛЮДИ, КОТОРЫХ ТЫ НЕ ЗАМЕТИЛ

Одна жизнь. Пять встреч.
И правда о том, что ты был важен.



АЛЕКСЕЙ КОРНЕЛЮК

18+

Лекарство от одиночества

Алексей Корнелюк

**Люди, которых ты не заметил.
Одна жизнь. Пять встреч**

«Автор»

2026

Корнелюк А.

Люди, которых ты не заметил. Одна жизнь. Пять встреч /
А. Корнелюк — «Автор», 2026 — (Лекарство от одиночества)

Вадим Синицын был уверен, что прожил обычную, почти незаметную жизнь. Работа, развод, редкие разговоры с дочерью, сброшенные звонки матери, усталость, раздражение, Москва, в которой каждый сам за себя. После внезапного сердечного приступа он оказывается не в раю и не в аду, а в странном учреждении, похожем на МФЦ, вокзал и больничный коридор одновременно. Там ему сообщают: прежде чем вернуться или уйти дальше, он должен встретить пятерых людей, чьи жизни изменил, сам того не заметив. Кассирша, которой он однажды нагрубил. Мальчик из подъезда, которому помог донести велосипед. Коллега, чью идею присвоил. Таксист, с которым поговорил в самую тяжёлую ночь. И женщина, мимо которой он прошёл, потому что торопился. Пять случайных встреч покажут ему страшную и спасительную правду: мы значим для других гораздо больше, чем думаем.

Алексей Корнелюк

Люди, которых ты не заметил.

Одна жизнь. Пять встреч

Глава 1. День, который не тянул на смерть

Москва в тот день выглядела так, будто её ночью плохо собрали обратно. Кто-то, должно быть, разобрал её до винтика — снял с домов облупленную краску, вывернул наизнанку дворы, вынул из людей последние тёплые слова, потряс всё это в огромном грязном мешке и утром высыпал назад: вот вам, живите. Асфальт блестел после дождя, как дешёвая куртка на рынке, остановки были набиты людьми с лицами, на которых уже стояла печать буднего дня, маршрутки кашляли у светофоров, курьеры летели по тротуарам с такой обречённостью, будто в их рюкзаках были не роллы и супы, а чьи-то последние надежды на человеческое счастье. Я шёл среди всего этого, неся себя, как несут старый чемодан без ручки: выбросить жалко, тащить противно, а внутри всё равно ничего ценного.

Мне было сорок два, и это был возраст, когда человек ещё не старый, но уже достаточно потрепанный, чтобы перестать верить в собственные рекламные слоганы. Я работал в агентстве, где мы продавали людям ощущение, что им чего-то не хватает, а потом продавали им то, что якобы должно было эту дыру закрыть. Крем для лица, банковскую карту, жилой комплекс с видом на соседний жилой комплекс, корм для собак, подписку на счастье, йогурт с кусочками уверенности в себе. Мы называли это стратегией. По сути, мы занимались тем, что наряжали чужую пустоту в приличные слова. Иногда мне казалось, что если открыть мою голову, там тоже найдётся презентация на двадцать четыре слайда: «Вадим Синицын. Перезапуск бренда. Версия 4.2. Усталость, цинизм, отложенная нежность».

Утро началось с того, что я проспал. Не катастрофически, нет. Катастрофически просыпаются герои фильмов, когда за окном уже горит город, а в телефоне тридцать семь пропущенных от президента. Я проспал по-московски: на двадцать восемь минут, ровно настолько, чтобы весь день пошёл боком, но недостаточно, чтобы можно было красиво всё отменить. Телефон лежал у подушки лицом вниз, как мелкий предатель. На экране висели сообщения от начальника, бывшей жены, дочери и банка. Банк, как всегда, интересовался мной нежнее всех.

«Пап, ты сегодня помнишь?» — написала Лиза.

Я посмотрел на сообщение и не сразу понял, что именно я должен помнить. У детей есть этот страшный дар — задавать вопросы, в которых уже спрятан приговор. Сегодня? Сегодня что? Конец света? Родительское собрание? Её выступление? Обещание купить ей какие-то маркеры, которые стоили как месячный запас гречки для монастыря? Я сел на край кровати, потер лицо и почувствовал под пальцами не кожу, а какую-то мятую бумагу. В ванной на меня из зеркала посмотрел мужчина, который когда-то собирался стать интересным человеком, но потом как-то незаметно перешёл на тариф «дожить до пятницы».

Я набрал: «Помню. Напишу чуть позже».

Это была моя любимая форма отцовства — обещание присутствия в будущем. Я часто писал Лизе «чуть позже», «вечером», «на выходных», «созвонимся», и все эти слова уже давно лежали между нами, как невыполненные чеки. Она была умная девочка, тринадцать лет, слишком взрослая для своих лет и слишком вежливая со мной, что было хуже любого подросткового хамства. Хамство хотя бы доказывало, что человеку не всё равно. Вежливость ребёнка к отцу — это маленькое кладбище.

На кухне пахло вчерашним кофе и невымытой кружкой. Я включил чайник, хотя знал, что кофе мне нельзя в таких количествах, но знание вообще редко спасает человека. Если бы

знание спасало, люди не курили бы у онкологических центров, не возвращались бы к тем, кто их ломает, не покупали бы абонемент в спортзал в январе и не жили бы по сорок лет так, будто у них в запасе ещё одна жизнь, черновая. Я выпил кофе стоя, обжёг язык, выругался, нашёл в холодильнике половину лимона, старый сыр и контейнер с чем-то, что когда-то, возможно, было едой, но теперь выглядело как научный эксперимент о конце цивилизации.

Мать позвонила, когда я натягивал рубашку. Её имя на экране всегда появлялось не вовремя, хотя, если честно, я давно перестал понимать, какое время для матери можно считать удобным. Удобное время — это когда у тебя внутри есть место для другого человека. У меня там давно стояли коробки, провода, старые обиды, рабочие задачи, неоплаченные счета и мерзкая усталость, которая размножалась в темноте, как тараканы.

Я сбросил звонок.

Через минуту пришло сообщение: «Вадим, просто хотела узнать, как ты».

Я написал: «На встрече. Позже».

Я не был на встрече. Я был в трусах посреди кухни, пил кофе и пытался найти ремень. Но это ведь почти одно и то же. Взрослая жизнь вообще состоит из маленьких лживых табличек, которые мы вешаем на дверь, чтобы нас не трогали: «На встрече», «Занят», «Не могу говорить», «Держусь», «Всё нормально». Особенно последнее. «Всё нормально» — это такая братская могила для всех невыясненных чувств.

На улице меня встретил мокрый двор, в котором старые тополя стояли, как свидетели обвинения. У подъезда курил сосед с пятого этажа, огромный мужчина в спортивных штанах и куртке на голое тело. Я не знал его имени, хотя видел лет шесть. Он знал моё, потому что однажды получил за меня посылку, и теперь у нас были отношения почти интимные: мы кивали друг другу с видом людей, которые случайно оказались в одном лифте жизни и решили не выяснять подробностей.

— Здорово, — сказал он.

— Угу, — ответил я.

Вот и поговорили. Два городских монаха, давшие обет не вступать в лишний контакт с человечеством.

Лифт, разумеется, не работал. На двери висела бумажка: «Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за неудобства». В этой фразе было всё величие нашей цивилизации. Никто ничего не ремонтировал, никто никаких извинений не приносил, неудобства были не побочным эффектом, а самой сутью происходящего. Я спустился пешком, на третьем этаже наступил на детскую перчатку, на втором обошёл пакет с мусором, который кто-то не донёс до контейнера, а на первом увидел мальчишку лет восьми, пытавшегося затащить в подъезд самокат с колесом, застрявшим в двери. Он посмотрел на меня снизу вверх, ожидая то ли помощи, то ли окрика.

Я задержался на секунду. Ровно на ту секунду, в которой человек ещё может стать человеком, но чаще всего выбирает остаться расписанием.

— Дверь придержи, — сказал я.

Он придержал, я прошёл.

На улице я вспомнил, что когда-то, много лет назад, уже видел почти такую же сцену: подъезд, ребёнок, какая-то железная штука, которую надо было поднять, и я вроде бы помог. Воспоминание мелькнуло и тут же растворилось, как чек в стиральной машине. Таких мелочей в жизни навалом. Они не держатся в голове. Голова вообще устроена под другое: под обиды, страхи, стыд, фразы, которые надо было сказать десять лет назад, и рекламу, которую ты ненавидишь, но помнишь наизусть.

До метро я решил не идти. Вызвал такси, потому что опаздывал, потому что дождь, потому что я был из тех людей, которые уже не богаты, но достаточно утомлены, чтобы покупать себе иллюзию контроля. Такси приехало через семь минут. Жёлтая машина, пахнущая

мокрыми ковриками, дешёвым ароматизатором и чужими разговорами. Водитель был молчаливый мужчина с седыми висками и лицом человека, который видел слишком много задних сидений и слишком мало нормальных ночей.

— На Сушёвский Вал? — спросил он.

— Да. Только быстрее, если можно.

Он посмотрел на меня в зеркало. Без злости. Скорее с профессиональной усталостью мясника, которому очередная корова рассказывает, как правильно держать нож.

— Быстрее города не получится.

Я хотел ответить что-то колкое, но грудь вдруг неприятно сжалась, будто внутри кто-то провернул маленький ржавый ключ. Не боль. Так, предупреждение. Организм иногда посылает человеку письма, но мы не читаем, потому что шрифт мелкий, а дела важные. Я расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и уставился в окно.

Москва проплывала мимо, жирная, мокрая, бессмертная. У неё были тысячи лиц, и все они в этот час хотели одного: успеть. Успеть на работу, в поликлинику, на суд, в банк, в школу, в аптеку, к любовнику, от любовника, в никуда, но обязательно быстрее. Город был огромной мясорубкой, которая не жевала тебя сразу, а сначала делала вид, что предлагает выбор. На остановке женщина в красной шапке ругалась с кем-то по телефону, размахивая пакетом из «Пятёрочки». Рядом старик держал в руках букет хризантем, мокрых и унылых, как извинение после тридцати лет брака. У перехода курьер на велосипеде едва не сбил школьницу; школьница показала ему средний палец с такой взрослой точностью, что я почти зауважал новое поколение.

Телефон завибрировал. Начальник.

— Вадим, ты где? — спросил Паша голосом человека, у которого вместо сердца стоит календарь.

— Еду. Через двадцать минут буду.

— Через двадцать уже клиент.

— Значит, буду через девятнадцать.

— Не шути, пожалуйста. Там важная встреча. Очень важная.

У Паши все встречи были важные. Если бы он назначал встречу с сантехником, то тоже говорил бы так, будто решается судьба континента.

— Паша, я в такси. Машину руками не понесу.

— Презентацию финальную отправил?

Я закрыл глаза. Презентация лежала у меня в ноутбуке. Финальная, почти финальная, «в целом финальная», то есть такая, которую ещё можно было править до второго пришествия.

— Отправлю сейчас.

— Там идея с “невидимой заботой” — это точно наша?

Я открыл глаза.

— В смысле?

— Ну, Даша из аналитики сказала, что похожий заход она предлагала ещё на прошлом брейншторме.

Слово «Даша» неприятно царапнуло где-то под рёбрами. Не сильно. Как этикетка на новой рубашке: вроде мелочь, а жить мешает.

— Паша, мы все что-то предлагаем на брейнштормах. Это и называется работа.

— Ясно. Просто уточняю.

— Не уточняй. Клиенту нужна цельная идея, а не археология авторства.

Я сбросил вызов раньше, чем он успел ответить. Водитель снова посмотрел на меня в зеркало. Я сделал вид, что не заметил. Есть взгляды, которые хуже слов. Слова можно отбить, перевернуть, обесценить. Взгляд просто кладёт тебя на стол и показывает, где у тебя гниль.

Такси встало в пробку. Впереди мигали стоп-сигналы, красные и злые, как глаза мелких демонов. Водитель вздохнул.

— Тут теперь надолго.

— Отлично, — сказал я. — Просто прекрасно.

— Вам плохо?

— Мне? Нет.

Он пожал плечами. Я понял, что держу руку на груди. Убрал её. Смешно, как человек до последнего пытается выглядеть нормальным даже перед таксистом, который через пять минут забудет его лицо. Хотя, как потом выяснилось, люди забывают не всё. Это я тогда ещё не знал. Тогда я думал, что мир устроен милосердно: ты сказал гадость, прошёл мимо, соврал, украл фразу, сбросил звонок, не помог — и всё это исчезло, растворилось в общем городском шуме. Как плевков в дождь. Кто его там увидит?

Я расплатился раньше, чем мы доехали, потому что идти пешком оказалось быстрее. Вышел у аптеки на углу, под навесом, с которого капала вода. Воздух был липкий, тёплый для ноября, дурной. На вывеске зелёный крест мигал так, будто у него тоже начиналась аритмия. Рядом стояла очередь к банкомату, две женщины спорили о скидке на лекарства, дворник в оранжевом жилете гонял по тротуару мокрые листья, которые тут же возвращались назад. В Москве даже листья не хотят уходить добровольно.

Я пошёл быстро, почти бегом. До офиса оставалось десять минут. Телефон снова вибрировал. Лиза. Не звонок — сообщение.

«Пап, сегодня в семь. Я же говорила. Ты обещал».

Вот тут я вспомнил. Конечно. У неё был школьный спектакль. Или концерт. Что-то на сцене, где дети стоят в белых рубашках, родители снимают на телефоны, а потом все делают вид, что произошло культурное событие, хотя на самом деле произошло маленькое чудо: ребёнок хотел, чтобы ты пришёл. Я остановился у перехода, перечитал сообщение и почувствовал раздражение. Именно раздражение, не вину. Вина пришла бы позже, благородная такая, с опозданием, как чиновник на открытие памятника. А сначала пришло раздражение: почему сегодня, почему в семь, почему я должен помнить всё, почему никто не понимает, что у меня тоже жизнь не сахарная вата на палочке.

Я набрал: «Постараюсь».

Ответ пришёл почти сразу: «Понятно».

Одно слово. Маленькое, аккуратное, воспитанное. Можно было бы зарезать им человека и не испачкать руки.

Я сунул телефон в карман и тогда увидел её.

Женщина сидела у стены аптеки, чуть сбоку от входа, там, где обычно курят фармацевты или ждут такси люди, которым неловко стоять прямо у двери. Сидела не на скамейке — скамейки там не было, — а прямо на низком бетонном бордюре, как садятся те, у кого тело внезапно перестало быть договороспособным. Ей было лет шестьдесят пять, может, больше, может, меньше; возраст у усталых женщин в Москве определить трудно, потому что город выдаёт им лишние годы авансом, вместе с квитанциями и болью в суставах. На ней было коричневое пальто с потемневшим воротником, вязаная шапка, серые перчатки. Рядом лежала сумка, из неё выкатился блистер таблеток и маленький помятый список покупок. Она держалась рукой за грудь или за шарф — я не разобрал. Лицо у неё было бледное, с каким-то серым оттенком, будто из неё тихонько выливали свет.

Я увидел её. Вот что потом стало самым мерзким. Не пропустил, не не заметил, не был ослеплён срочным письмом или потоком машин. Увидел. Даже замедлил шаг. Даже подумал: человеку плохо. Мысль была ясная, простая, человеческая. Такая мысль могла бы стать дверью. Я мог открыть её, войти на две минуты в чужую беду, спросить: «Вам помочь?», позвать

аптекарей, набрать скорую, поднять блистер, просто остановиться рядом, чтобы она не сидела одна под этим зелёным крестом, который мигал над ней, как насмешка.

Но следом за первой мыслью пришла вторая. Она всегда приходит быстро, как хорошо обученный адвокат.

Кто-нибудь поможет.

За моей спиной как раз выходил мужчина из аптеки. У двери стояли две женщины. Дворник был неподалёку. Люди шли туда-сюда, город шевелился, дышал, цокал каблуками, шуршал пакетами, кашлял выхлопами. Не пустыня же. Не тайга. Не конец света. В Москве человек никогда не бывает один по-настоящему — вокруг всегда есть кто-то, кто может вмешаться вместо тебя. Это очень удобно. Целый мегаполис свидетелей, и каждый надеется, что свидетелем окажется другой.

Женщина подняла глаза. На секунду мне показалось, что она смотрит прямо на меня. Не умоляюще даже. Без драматизма. Просто смотрит, как смотрят люди, которым плохо и которые ещё не знают, насколько плохо. Взгляд цепляется за любой движущийся предмет: лицо, рукав, ботинок, пакет, собаку, прохожего. Жизнь, когда уходит, становится ужасно неприветливой. Ей уже не нужен герой, ей нужен кто-нибудь с телефоном.

Я достал телефон. Не чтобы вызвать скорую. Чтобы посмотреть время.

До встречи оставалось семь минут.

В этот момент из аптеки вышла девушка в белом халате под расстёгнутой курткой. Я подумал: ну вот. Сейчас она увидит. Сейчас всё решится. Я сделал ещё шаг, потом ещё. Женщина у бордюра осталась справа, за плечом. Я слышал, как что-то упало на мокрый асфальт — может быть, таблетка, может быть, ключи, может быть, мой шанс не быть последней сволочью в этот день. Но человек, который опаздывает, умеет превращать любой звук в фон.

— Мужчина! — вроде бы сказала кто-то позади.

Я не обернулся. Не потому, что был жестоким. Жестокость хотя бы имеет форму, температуру, намерение. Я был хуже — я был занят. Занятые люди вообще страшнее злых. Злой человек хотя бы знает, что делает. Занятый идёт мимо с таким лицом, будто его равнодушие заверено печатью.

Я дошёл до угла, свернул, почти побежал. Грудь снова сжалась, сильнее, но я списал это на кофе, нервы, погоду, возраст, всё сразу. В голове уже крутилась встреча: клиент, слайды, Паша, Даша со своей обиженной идеей, Лиза со своим «понятно», мать со своим «просто хотела узнать, как ты». Все тянули меня каждый в свою сторону, и я, конечно, считал себя измученным центром этой вселенной. Какой же я был идиот. У каждого второго в городе внутри такой же ад, просто двери закрыты. Мы ходим мимо друг друга, как мимо подъездных щитков: не наше, не трогать, опасно, без допуща не открывать.

Офисное здание сияло впереди стеклянной бессмысленностью. Вращающиеся двери крутились, выплёвывая людей с бейджами и стаканчиками. Охранник на входе кивнул мне так, будто мы оба участвовали в спектакле под названием «Всё под контролем». Я полез в карман за пропуском, но пальцы вдруг стали чужими, ватными. Пропуск выскользнул, ударился о пол. Я наклонился и понял, что воздух закончился. Не вообще воздух, а именно мой личный воздух, тот, который должен был принадлежать мне по праву рождения, прописки и сорока двух лет бессмысленной суеты.

— Мужчина, вам помочь? — спросил охранник.

Вот теперь смешно. Правда? На улице женщина сидела у аптеки, и я прошёл мимо, потому что кто-нибудь поможет. Через семь минут кто-то спросил это у меня.

Я хотел ответить: «Нет, всё нормально». Это была бы идеальная последняя фраза для такого человека, как я. Скромная, лживая, городская. Но вместо слов изо рта вышел какой-то хрип, жалкий и мокрый. Пол качнулся. Стеклянные двери разъехались в стороны, как декорации перед дешёвым чудом. Я увидел свои ботинки — коричневые, с отклеивающимся носком,

давно пора выбросить, всё руки не доходили. Потом увидел на полу чужую жвачку, чёрную от времени, расплюснутую тысячами подошв. Потом потолок. Потом лица.

— Скорую! — крикнул кто-то.

Мне стало обидно, что презентация осталась неотправленной. Вот честно. Не жизнь, не дочь, не мать, не женщина у аптеки всплыли первыми, а эта проклятая презентация, двадцать четыре слайда про невидимую заботу. Человек умирает, а в нём всё ещё живёт офисный идиот с дедлайном. Так, наверное, и выглядит душа современного горожанина: маленький перепуганный менеджер, который даже у бездны спрашивает, есть ли вай-фай.

Где-то рядом охранник повторял:

— Мужчина, слышите меня? Мужчина!

Я слышал. Но отвечать уже не мог. Звуки стали длинными, как резина. Свет расплзся по краям. В груди что-то рвануло не громко, без театра, без музыки, без ангельских труб. Просто внутри меня сломалась какая-то главная деталь, которую я всю жизнь считал неубиваемой, потому что она молчала.

И перед тем как всё погасло, я вдруг увидел не офис, не охранника, не стеклянный потолок. Я увидел женщину у аптеки. Её серую перчатку. Блister таблеток на мокром асфальте. Её глаза, которые на секунду зацепились за мои.

Я ещё не знал, что именно с этого взгляда мне придётся начинать всё заново.

Глава 2. Минус один человек в городе

Когда человек падает на пол в офисном холле, мир вокруг него не становится благороднее. Это только в кино у смерти есть музыка, крупный план, замедленная съёмка и свет, который льётся сверху, будто кто-то наконец решил подсветить твою никчёмную биографию. В жизни всё проще и обиднее. В жизни охранник не знает, куда деть руки, девушка на ресепшене роняет пластиковый стаканчик, кто-то пытается пройти мимо так, чтобы не задеть лежащее тело, потому что опаздывает на лифт, а человек в дорогом пальто смотрит на часы с выражением оскорблённой пунктуальности. Ты лежишь на холодной плитке, твоя грудь превращается в раскалённый сейф с заклинившим замком, а рядом всё равно продолжается будний день: двери крутятся, турникет пищит, кофе остывает, чей-то телефон требует пароль, и город не моргает. Город вообще редко моргает. У него нет век, только окна.

Я лежал на спине и смотрел вверх, но потолок больше не был потолком. Он стал мутной белой рекой, по которой плыли лица. Охранник нависал надо мной, как неудачно нарисованный святой из районного храма: крупные поры, красные глаза, запах табака, испуг, спрятанный под служебной строгостью. Ресепшен-девушка держала телефон обеими руками и говорила слишком громко, как говорят люди, которые боятся, что их не услышит не скорая, а сам Господь Бог в своей небесной регистратуре.

— Мужчина, мужчина, вы меня слышите? — повторял охранник. — Как вас зовут?

Я хотел сказать: Вадим. Всего-то пять букв, не «Навуходоносор», не «счастливый человек», не «примерный отец», а обычное русское имя, вполне пригодное для заполнения медицинской карты. Но язык лежал во рту тяжёлый, как мокрая тряпка. Из горла выходило что-то постыдное, животное. Я слышал этот звук и не сразу понимал, что он мой. Очень неприятное открытие — узнать, что внутри тебя живёт не только усталый стратег, разведённый отец и человек, который умеет на встречах говорить «давайте посмотрим шире», но ещё и зверёк, который просто хочет воздуха.

— Скорую вызвали? — спросил чей-то мужской голос.

— Вызываю! — почти плакала девушка. — Да говорю же, человек упал! Нет, не пьяный, наверное! Откуда я знаю давление?

«Не пьяный, наверное» почему-то меня задело. Даже сейчас, когда сердце, по всем ощущениям, пыталось съехать с должности без отработки двух недель, мне было важно, чтобы незнакомая девушка не подумала обо мне плохо. Удивительно, сколько тщеславия помещается в умирающем теле. Даже на краю бездны человек поправляет воротник.

Я попытался поднять руку, но рука отказалась быть моей. Она лежала рядом, пальцы чуть согнуты, ногти с грязноватыми полумесяцами, костяшки сухие, кожа у большого пальца потрескалась. Рука сорокадвухлетнего мужчины, который покупал дорогие кремы для клиентов, но себе не мог купить нормальный крем за триста рублей. Рука, которая писала Лизе «потом». Рука, которая сбрасывала звонки матери. Рука, которая держала телефон у аптеки и проверяла время, пока женщина сидела на бордюре, держась за грудь. Я смотрел на эту руку и вдруг почувствовал к ней отвращение, как к чужой вещи, найденной в кармане.

— Расстегните ему воротник, — сказал кто-то. — Ему воздуха не хватает.

— Я не врач, — ответил охранник.

— А я что, врач?

Они спорили надо мной, как над сломанным принтером. Это было почти смешно. Я бы даже усмехнулся, если бы тело не было занято более серьёзной комедией. В груди рвало и давило, будто туда запихнули раскалённую дверную ручку и теперь пытались провернуть. В левую руку уходила тупая тяжесть, в шею поднималась волна тошноты, на лбу выступил холодный пот. Я знал эти признаки. Все знают эти признаки. Мы живём в эпоху, где каждый может за десять секунд прочесть, как умирают другие, а потом годами игнорировать, как умирает он сам.

Из вращающихся дверей вошёл Паша. Я увидел его туфли раньше лица: коричневые, начищенные, с острыми носами, обувь человека, который верит в регламенты и бонусы. Потом он наклонился, и его лицо появилось надо мной — бледное, вытянутое, растерянное, с таким выражением, будто я подвёл не организм, а команду.

— Вадим? Ты чего?

Прекрасный вопрос. Я чего? Да вот, Паша, решил немного умереть перед встречей, чтобы добавить презентации эмоциональной глубины. Надо же как-то оживлять клиентский опыт.

— Он из вашего офиса? — спросил охранник.

— Да. То есть... да, наш. Вадим, ты слышишь?

Наш. Мне вдруг стало смешно от этого слова. Человек может быть «наш» только пока от него есть польза: наш сотрудник, наш клиент, наш подрядчик, наш папа, наш сын, наш бывший муж, наш должник, наш контакт в телефоне. Стоит ему лечь на плитку, и принадлежность становится неудобной, как мокрое пальто в гостях. Что с ним теперь делать? Куда его положить? Кто отвечает? У кого ключи от его жизни?

— Презентация... — выдавил я.

Паша наклонился ниже.

— Что?

— Ноутбук...

Он моргнул.

— Да хрен с ней, с презентацией.

И в этом был, пожалуй, самый человеческий момент за всё наше знакомство. Паша сказал это не красиво, не мудро, не по-книжному. Просто испугался и на секунду стал нормальным мужиком, а не начальником отдела. Иногда, чтобы человек проявился, ему нужно увидеть, как другой человек исчезает прямо на полу.

Я хотел сказать ему спасибо, но рот снова наполнился ватой. Где-то рядом закричал турникет — кто-то приложил пропуск не той стороной. Писк был резкий, деловитый, равнодушный. Вращающиеся двери продолжали выпускать и впускать людей. Некоторые задерживались, смотрели. Кто-то снимал на телефон. Да, конечно. Как же без этого. В любой трагедии теперь

обязательно есть режиссёр-любитель. Человек ещё не умер, а его уже можно отправить в чат дома с подписью «жесть у нас в бизнес-центре».

Я увидел краем глаза молодого парня в пуховике. Он держал телефон на уровне груди, будто прятал. Камера смотрела на меня чёрным маленьким зрачком. Мне захотелось встать и дать ему по лицу. Не потому, что он снимал мою смерть, а потому, что делал это робко. Даже подлость у нас в городе какая-то застенчивая, бытовая, без осанки.

— Не снимайте! — сказала ресепшен-девушка. — Вы что, совсем?

Парень опустил телефон и сделал вид, что читал сообщение. Я почти полюбил её в этот момент — эту девочку с пластиковым бейджем, криво наклеенными ресницами и голосом, который дрожал, но всё равно держался. Человечность часто выглядит не как подвиг, а как раздражённое «вы что, совсем?».

Скорая приехала быстро или медленно — время в такие минуты становится резиной, которую тянут сразу в разные стороны. Я слышал сирену, потом голоса, потом запах — медицинский, резкий, холодный, с примесью улицы, мокрой формы и чего-то металлического. Надо мной появились двое: женщина лет пятидесяти с усталым круглым лицом и парень с рыжей щетиной, слишком молодой для такого количества чужого страха. Они двигались быстро, без суеты, как люди, которые каждый день вытаскивают других из щелей между «ещё жив» и «уже всё».

— Возраст? — спросила женщина.

— Сорок два, — сказал Паша.

Мне стало странно, что он знает. Я сам иногда забывал. Сорок два — возраст, который звучит как номер автобуса, на который ты не успел.

— Боли где?

Я попытался показать грудь.

— Давит? Жжёт? В руку отдаёт?

Я моргнул. Может быть, это считалось ответом.

— Давление, сатурацию. Кардиограмму сюда. Вы родственник? — спросила она Пашу.

— Начальник.

— Тогда не мешайте как родственник.

Парень со щетиной разрезал или расстегнул мне рубашку, приклеил холодные липучки к груди. Я почувствовал себя товаром, который проверяют на складе перед списанием. Вокруг мелькали руки, провода, пластик, белые пакеты. Моя грудь, белая, волосатая, жалкая, лежала на всеобщем обозрении. Смерть вообще очень неприличная штука. Она раздевала меня без всякой эротики, показывала чужим людям мой живот, мои старые шрамы, пуговицу, которая давно держалась на честном слове. Всё, что я прятал под рубашкой, оказалось не тайной, а анатомией.

— Инфаркт? — тихо спросил охранник.

— Не мешайте, — сказала фельдшер.

Это слово прозвучало так уверенно, что мне захотелось за него ухватиться. «Не мешайте». В нём был порядок. В нём был смысл. Кто-то знал, что делать. А я всю жизнь делал вид, что знаю, хотя на самом деле только переставлял слова местами и называл это стратегией.

Меня переложили на носилки. Или попытались переложить. Тело стало тяжёлым и неповоротливым, как мебель из старой квартиры. Я слышал, как кто-то сказал: «Осторожно, голова», и впервые за много лет моя голова оказалась предметом заботы. Носилки покатались к выходу, потолок поехал надо мной, лампы превращались в белые пятна, лица — в расплывчатые маски. Паша шёл сбоку и что-то говорил в телефон. Наверное, отменял встречу. Наверное, впервые в истории нашего отдела клиент столкнулся с уважительной причиной.

У дверей я увидел свою отражённую фигуру в стекле: разодранная рубашка, серое лицо, кислородная маска, провода, чужие руки. Не человек, а неудачная инсталляция о вреде дед-

лайнов. На улице дождь стал гуще. Капли били по козырьку, по стеклянным дверям, по капоту скорой. Мокрый воздух ударил в лицо через маску, и в нём было столько города — бензина, грязи, горячей выпечки из соседней пекарни, табака, осенних листьев, резины, человеческого дыхания, — что я вдруг испытал глупую нежность. К этой вонючей Москве, к этому холлу, к охраннику, к девочке на ресепшене, к Паше, к людям, которые мешали и смотрели, к тому парню с телефоном, даже к своим коричневым ботинкам. Человек начинает любить мир не тогда, когда мир прекрасен, а когда его у тебя собираются отобрать.

— Документы с ним? — спросил рыжий парень.

— В кармане, наверное, — ответил Паша.

— Телефон возьмите.

Мой телефон действительно оказался в руке у Паши. Экран зажёгся от нового сообщения. Я не видел текст, но почему-то знал, что это Лиза. Или мать. Или банк, сука, с заботливым предложением кредита на лечение души. Паша посмотрел на экран и отвёл глаза.

— Кому звонить? — спросила фельдшер.

Паша растерялся.

— Бывшей жене, наверное. Или матери. Я не знаю.

Я хотел сказать: Лизе не звоните. Не пугайте. Скажите матери, что я не мог ответить не потому, что не хотел, а потому что у меня сердце решило устроить забастовку. Скажите бывшей жене, что я не специально был таким недоделанным мужем. Скажите Даше, что идея была её. Скажите женщине у аптеки... что? Вот здесь внутри всё оборвалось. Женщине у аптеки я не мог сказать ничего, потому что не знал даже её имени. Нельзя извиниться перед «женщиной». Перед «прохожей». Перед «какой-то бабушкой». Вина без имени сначала кажется легче. Потом выясняется, что именно поэтому она некуда не уходит.

Меня подняли в скорую. Двери хлопнули, отрезав город. Внутри было тесно, светло и страшно деловито. Белые шкафчики, ремни, пакеты, приборы, кислород, запах спирта и резины. Фельдшер наклонилась надо мной.

— Вадим, меня слышите? Сейчас везём вас в больницу. Не закрывайте глаза, хорошо?

Я посмотрел на неё. У неё были мелкие морщины у глаз и маленькая родинка над верхней губой. Почему я это заметил? Всю жизнь не замечал людей, с которыми говорил по часу, а тут заметил родинку у женщины, которая пыталась не дать мне умереть. Может быть, мозг перед отключением хватался за детали, как утопающий за мусор в реке.

— Хорошо? — повторила она.

Я попытался кивнуть.

— Вот и молодец. Дышите. Не геройствуйте.

«Не геройствуйте». Тоже хорошая фраза. Вся моя жизнь, если честно, была не героизмом, а его дешёвой офисной подделкой: потерпеть, промолчать, заработать, не позвонить, не признаться, не попросить, не помочь, потому что «самому тяжело». Усталость мы часто выдаём за мужество, хотя это просто усталость, и ничего святого в ней нет.

Скорая тронулась. Сирена не включилась сразу, потом взвыла, и этот звук прошёл через меня, как нож по стеклу. Машину качало. Фельдшер смотрела на монитор, парень что-то готовил в шприце. Я лежал и видел над собой белый потолок, где от тряски дрожал маленький плафон. За стенками скорой город уступал дорогу не мне, а факту моего возможного исчезновения. Машины разъезжались, люди оборачивались, кто-то ругался у светофора, потому что чужая беда всегда мешает чьим-то планам. Ещё недавно чужой бедой была женщина у аптеки. Теперь чужой бедой стал я. Ротация страдания в пределах одного района.

— Давление падает, — сказал парень.

— Вижу, — ответила фельдшер. — Вадим, смотрите на меня. Не уплывайте.

Я смотрел, но она двоилась. Лицо её распадалось на пятна: глаза, маска, родинка, прядь волос, выбившаяся из-под шапочки. Мне захотелось спросить, как её зовут. Это было странное

желание, почти неприличное. Как будто имя могло удержать её здесь, а меня — там, где ещё есть люди с именами. Но рот снова не работал. И тогда она сама сказала, наклоняясь ближе:

— Я Ирина Сергеевна. Слышите? Держитесь, Вадим. Рано вам ещё.

Рано. Вот что меня добило. Не «мы вас спасём», не «всё будет хорошо», не эти сладкие медицинские леденцы для испуганных. Просто «рано вам ещё». Будто смерть — это электричка, на которую я припёрся за полчаса до отправления, с мятым билетом и без чемодана. Рано. А когда не рано? В семьдесят? В восемьдесят? После того как дочь перестанет ждать? После того как мать перестанет звонить? После того как все, кому ты должен был сказать человеческое слово, уже научатся жить без твоего голоса?

В кармане фельдшера что-то пискнуло. Машину тряхнуло. В груди боль вдруг изменилась: из давящей стала пустой. Очень плохой вид пустоты. Не философская, не вечерняя, не та, с которой можно сидеть у окна и курить, изображая человека с глубиной. Эта пустота была техническая. Как будто внутри выключили насос, и всё огромное здание моего тела начало терять давление.

— Вадим? — сказала Ирина Сергеевна.

Я слышал её, но уже издалека. Голоса отступали в конец длинного коридора. Сирена вытягивалась в тонкую нить. Свет плафона расплылся и стал похож на луну за грязным стеклом. И тут началось самое странное. Не жизнь перед глазами — нет. Видимо, моя жизнь была настолько плохо смонтирована, что даже перед смертью не смогла собраться в нормальную ретроспективу. Никаких детских качелей, первого поцелуя, свадьбы, рождения Лизы, отцовского лица, летнего моря. Вместо этого полезли мелочи.

Пакет с мусором на втором этаже. Детская перчатка на лестнице. Сосед в спортивных штанах. Кофейное пятно на столе. Сообщение Лизы: «Понятно». Мать: «Просто хотела узнать, как ты». Дашино лицо на совещании — не обиженное даже, а обескровленное, будто из неё вынули звук. Таксистские глаза в зеркале. Мальчик с самокатом у подъезда, которому я сказал придержать дверь. Женщина у аптеки. Блистер таблеток. Серые перчатки. Глаза, которые на секунду нашли мои и не удержали.

Я вдруг понял — нет, не понял, это слово слишком чистое для того, что произошло, — я вдруг физически ощутил, что жизнь состоит не из больших эпизодов, которые мы ставим на полку как кубки, а из этих мелких, липких, почти мусорных деталей. Из того, кому ты придержал дверь, а кому нет. Кому ответил «потом». На кого посмотрел как на мебель. У кого забрал голос. Кого оставил сидеть на бордюре под вывеской аптеки, потому что у тебя встреча, потому что ты важный, потому что ты, видите ли, не можешь опоздать.

— Теряем, — сказал парень.

Он сказал это не драматично. Просто сообщил факт, как «закончился физраствор» или «поворот направо». Теряем. Меня. Вадима Синицына. Сорок два года, разведён, дочь, мать, просроченная страховка, презентация не отправлена, в холодильнике половина лимона. Теряем. Минус один человек в городе. Москва даже не заметит перерасхода.

Началась суeta. Не хаос, а именно суeta профессионалов, которым приходится спорить с тем, что обычно не отвечает на письма. Мне что-то давили на грудь, кто-то говорил коротко и резко, как будто командовал не людьми, а деталями механизма. Раз. Два. Ещё. Воздух входил в меня чужим усилием. Боль исчезла, и это было хуже боли. Пока болит, ты ещё в теле. Когда перестаёт, тело становится комнатой, из которой ты вышел, забыв выключить свет.

В какой-то момент я оказался над собой. Не красиво, не с крыльями, не в белом сиянии. Просто как будто меня вытащили из собственного черепа и подвесили под потолком скорой. Я видел Иренино лицо, видел рыжую щетину парня, видел своё тело на носилках — бледное, открытое, нелепое, с липучками на груди, с приоткрытым ртом. Никогда не думал, что буду выглядеть таким обыкновенным в момент возможной смерти. Хотелось хотя бы посмертной выразительности, но нет. Даже умирал я как человек из очереди.

Потом и скорая исчезла.

Сначала пропали звуки. Потом свет. Потом ощущение, что у меня есть края. Я стал чем-то размазанным, как чернила в воде. Не было ни страха, ни покоя. Были только обрывки, которые вспыхивали и гасли: зелёный крест аптеки, Лизино «понятно», охранник с красными глазами, женская перчатка, Пашина фраза «да хрен с ней, с презентацией». Очень странно, что именно эта фраза держалась дольше других. Может быть, потому что в ней впервые за день было больше любви, чем пользы.

Я не знаю, сколько это длилось. Может, секунду. Может, неделю. Время там перестало быть часами и стало чем-то вроде мокрой простыни: липнет, тяжелеет, не высыхает. А потом под ногами появилась поверхность. Именно под ногами, хотя ног я сначала не чувствовал. Потом почувствовал. И это было почти оскорбительно. Вот ты только что, кажется, умер, а тебе снова выдали ноги, будто без них нельзя даже в неизвестности постоять нормально.

Я стоял в помещении.

Не в больнице. Это стало ясно сразу. В больницах пахнет хлоркой, потом, лекарствами, страхом родственников и супом из столовой. Здесь пахло пылью, мокрой шерстью, дешёвыми пластиковыми папками и чем-то железнодорожным — холодным воздухом, который бывает на вокзалах в ноябре, когда поезд ещё не пришёл, но усталость уже заняла место на лавке. Свет был серый, ровный, без источника. Под потолком висели старые квадратные лампы, но они будто не светили, а просто присутствовали для порядка. Пол — тот самый безнадёжный серо-бежевый керамогранит, который кладут в учреждениях, где человеческая надежда должна скользить и падать.

Передо мной стояли ряды пластиковых стульев. Синих, потрёпанных, соединённых металлическими трубками. На них сидели люди. Много людей. Не толпа, нет. Толпа шумит, пахнет, требует. Эти сидели тихо, как пассажиры рейса, который задержали настолько надолго, что злость уже выгорела. Старик в кепке держал в руках авоську с пустыми банками. Девочка лет десяти болтала ногами и смотрела в пол. Молодая женщина в свадебном платье, поверх которого была накинута мужская куртка, ковыряла край фаты. Мужчина в спортивном костюме листал талончик электронной очереди с таким лицом, будто пытался найти там смысл жизни мелким шрифтом. Где-то в углу храпел толстяк с букетом роз на коленях. Розы были свежие, красные, неприлично живые.

На дальней стене висело табло. Такое, как в МФЦ, поликлинике или банке, где люди добровольно отдают часть жизни в обмен на справку. На табло горели номера: А-113, В-008, Ж-000, П-45. Иногда что-то щёлкало, и номер менялся. Голос из динамика объявил:

— Гражданин с талоном Н-17, пройдите к окну номер три. Н-17. Окно номер три.

Никто не встал.

Я оглянулся. Позади были двери. Стекланные, тяжёлые, с мутными вставками. За ними ничего не было видно, только белёсый свет. Над дверями висела табличка: «Вход временный». Под ней кто-то ручкой дописал: «Выход тоже».

Я потрогал грудь. Рубашка была целая. Пуговицы на месте. Ни проводов, ни крови, ни боли. Только странная лёгкость, как после долгой болезни, когда температура ушла, но ты ещё не уверен, что имеешь право радоваться. Я посмотрел на свои руки. Те же. Сухая кожа, костяшки, ногти. На пальце маленькая царапина, полученная утром от дурацкой упаковки кофе. Даже здесь, где бы это ни было, царапина осталась при мне. Видимо, мелочи проходят границу легче, чем всё значительное.

— Первый раз? — спросил кто-то рядом.

На соседнем стуле сидел мужчина лет шестидесяти в сером плаще и с шахматной доской под мышкой. Лицо у него было длинное, ироничное, с усами, которые явно пережили несколько режимов, два брака и одну дачу в Подмоскowie.

— Что? — спросил я.

— Первый раз, говорю?

— Где?

Он усмехнулся.

— Вот это правильный вопрос. Только тут за правильные вопросы талонов не дают.

— Я в больнице?

— Если бы. В больнице хотя бы чай можно украсть у медсестёр.

Я сел, потому что стоять стало неудобно. Не физически — физически я чувствовал себя почти нормально, если не считать того, что несколько минут назад, кажется, видел собственное тело со стороны. Неудобно было внутренне. Человек вообще плохо переносит места, где никто не объясняет правила. Мы любим делать вид, что свободны, но, попав в непонятный коридор, сразу ищем указатель, охранника, администратора, папку с инструкцией, Бога в бейдже.

— Вы умерли? — спросил я у мужчины с шахматами.

— Я-то? Не знаю. Мне сказали: ожидайте.

— Кто сказал?

— Женщина в окне. Тут все женщины в окнах что-то говорят. Такая у них власть.

Я посмотрел туда, куда он кивнул. В дальней части зала действительно были окна обслуживания. Пять или шесть. Над каждым номер, стекло, маленькое круглое отверстие для документов и голоса. За стёклами сидели люди — или не совсем люди, не знаю. Женщины в одинаковых жилетках цвета уставшей бирюзы. У одной была причёска, как у завуча. У другой — очки на цепочке. Третья пила чай из кружки с надписью «Лучшая бабушка», и почему-то от этого стало особенно страшно. Ад, рай, чистилище — всё это ещё можно выдержать. Но вечность, оформленная как районный МФЦ, была ударом ниже пояса.

— Мне надо позвонить, — сказал я.

Мужчина с шахматами посмотрел на меня с лёгкой жалостью.

— Кому?

Я открыл рот и не сразу нашёл ответ. Лизе. Матери. Бывшей жене. Паше. Скорой. Самому себе утром, чтобы сказать: идиот, остановись у аптеки. Но телефон в кармане отсутствовал. Карман был пустой, и эта пустота оказалась страшнее, чем отсутствие боли. Без телефона современный человек сразу становится почти голым, как первобытная обезьяна, только без шерсти и навыков выживания.

— Здесь не ловит, — сказал мужчина. — Ни связь, ни совесть. Хотя совесть иногда пробивается, зараза.

— Что это за место?

Он пожал плечами.

— Кто как называет. Один тут сказал — распределитель. Другой — зал ожидания. Третья женщина кричала, что это безобразие и она будет жаловаться Собянину. Её быстро вызвали.

— И что с ней?

— Не вернулась. Может, пожаловалась.

Он засмеялся тихо, не весело, а так, чтобы не сойти с ума окончательно. Я хотел спросить ещё, но табло щёлкнуло, и динамик прохрипел:

— Синицын Вадим Олегович. Окно номер ноль.

Все, кто сидел рядом, повернули головы. Не резко. Без интереса толпы. Скорее с усталой внимательностью людей, которые уже видели, как других вызывают туда, куда однажды вызовут их. Мужчина с шахматами присвистнул.

— Ноль? Красиво. Не часто.

— Что значит ноль?

— А вы сходите. Потом, может, расскажете. Если будет кому.

Я встал. Ноги слушались плохо, будто они тоже не были уверены в юридическом статусе происходящего. Окна начинались с первого, потом второе, третье, четвёртое, пятое. Нулевого

я сначала не увидел. Потом заметил сбоку, в нише, почти за колонной. Над ним висела маленькая табличка: «0». За стеклом сидела женщина лет шестидесяти или ста шестидесяти — это было трудно определить. У неё было спокойное широкое лицо, волосы, собранные в аккуратный пучок, серый кардиган поверх бирюзовой жилетки и взгляд человека, который уже выслушал все возможные оправдания человечества и теперь просит формулировать покороче.

Перед окном лежала табличка: «Надежда Павловна».

Она подняла глаза от папки.

— Синицын Вадим Олегович?

— Да.

— Садитесь.

Перед окном стоял стул. Низкий, неудобный, как в кабинетах, где тебя собираются либо лечить, либо увольнять. Я сел.

— Я умер? — спросил я.

Надежда Павловна вздохнула, будто этот вопрос ей задавали так часто, что хотелось повесить на стену распечатку.

— У вас, Вадим Олегович, промежуточное состояние.

— Кома?

— Для них — возможно.

— Для кого для них?

Она посмотрела поверх очков.

— Для тех, кто остался с телом.

Я почувствовал, как внутри похолодело. Значит, тело всё-таки осталось. Где-то там, в скорой, в больнице, под лампами, с открытой рубашкой. Тело Вадима Синицына, бывшее в употреблении сорок два года, состояние среднее, имеются следы усталости, ремонта не было.

— Я хочу вернуться, — сказал я.

— Все хотят, — ответила она. — Даже те, кто пять минут назад уверял, что устал жить. Очень непоследовательный вид, люди.

— У меня дочь.

— У многих дочери.

— Мать.

— У многих матери. Некоторые даже отвечали им на звонки.

Она сказала это ровно, без злости, почти буднично, но фраза вошла аккуратно, под ребро. Я сжал руки на коленях.

— Вы кто?

— Сотрудник отдела.

— Какого отдела?

Надежда Павловна перевернула страницу в папке. Бумаги шуршали так, будто там лежала не моя история, а заявление на замену паспорта.

— Отдел обратного влияния.

Я посмотрел на неё. Она не улыбалась.

— Простите, чего?

— Обратного влияния. Не надо так напрягаться, это не религиозная организация и не новая банковская услуга.

— Что это значит?

— Это значит, что ваше дело пока не закрыто.

— Моё дело?

— Именно.

Она достала из папки лист. На нём что-то было напечатано, но буквы расплзались у меня перед глазами. Наверху я успел прочитать: «СЕНИЦЫН ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ. Пред-

варительная сводка». Ниже — даты, цифры, какие-то графы. «Прямые связи». «Непрямые связи». «Неучтённое воздействие». «Отложенные последствия». Если бы мне в офисе показали такую таблицу, я бы сказал, что визуал перегружен и нужно вынести главное на первый слайд.

— Слушайте, — сказал я. — Если это про жизнь, я не святой, понятно. Но я никого не убивал. Я обычный человек.

— Это одна из самых популярных фраз в нашем отделе.

— Потому что она правда.

— Потому что она удобная.

Я почувствовал раздражение. Хороший знак, наверное. Если тебя раздражают после смерти, значит, личность ещё функционирует.

— Я правда обычный человек, — повторил я. — Работа, семья... бывшая семья. Ипотека была. Алименты плачу. Налоги. Иногда помогаю. Иногда нет. Как все.

Надежда Павловна медленно кивнула.

— Вот именно, Вадим Олегович. Как все. Поэтому и посмотрим.

— Что посмотрим?

Она достала маленький прямоугольный талон. Такой же, как выдают в электронной очереди. Белая бумага, чёрные буквы. Положила его под стекло и подвинула ко мне.

— Прежде чем будет принято решение о вашем дальнейшем маршруте, вам необходимо пройти пять встреч.

— С кем?

— С людьми, чьи жизни вы изменили.

Я почти рассмеялся. Не от веселья — от абсурда, от страха, от желания разнести это стекло к чёрту.

— Я? Изменил? Вы меня с кем-то перепутали. Я не хирург, не президент, не учитель, не террорист. Я презентации делаю. Иногда удачные.

— Вы очень переоцениваете официальные профессии и очень недооцениваете обычное хамство, обычную доброту и обычное равнодушие.

Я замолчал.

— Пять встреч, — повторила она. — Не с самыми близкими. Не с теми, кого вы сами считали важными. С теми, кого вы почти не заметили.

Слово «заметили» неприятно дрогнуло в воздухе. Где-то внутри снова вспыхнул зелёный крест аптеки.

— Я хочу знать, что с женщиной, — сказал я.

Надежда Павловна посмотрела в папку.

— С какой?

Я разозлился.

— С той. У аптеки.

— Имя?

Я не ответил.

Она подняла глаза.

— Вот видите.

Я хотел сказать что-нибудь резкое, но слова застряли. В этом месте, похоже, нельзя было красиво обманывать. Красивый обман сразу начинал пахнуть дешёвой канцелярией.

— Я не знал её имени, — сказал я.

— Вы и не спросили.

— Я опаздывал.

Надежда Павловна снова вздохнула. Не осуждающе. Устало.

— Конечно. Живые всё время опаздывают. Особенно туда, где без них прекрасно могли бы обойтись.

Она постучала пальцем по талону.

— Начнём не с неё.

— Почему?

— Потому что вы ещё будете пытаться защищаться. А с ней это бесполезно и не очень безопасно для вашей конструкции.

— Моей чего?

— Конструкции. Того, что вы называете собой.

Я взял талон. Бумага была тёплая, будто её только что держали в чужой ладони. На ней было напечатано:

Касса №4.

Грубость весом 312 граммов.

Я перечитал два раза.

— Это шутка?

— Нет.

— Что за касса?

— Вспомните.

— Я каждый день бываю на кассах.

— Вот именно.

Надежда Павловна закрыла папку.

— Ожидайте вызова.

— Я не буду ничего ожидать. Мне нужно вернуться.

— Тогда тем более ожидайте. Возврат без просмотра невозможен.

— Просмотра?

— Встречи, просмотра, признания — называйте как хотите. Только не уроком. Уроки вы, как я вижу, не очень любили.

— А если я откажусь?

Она посмотрела на меня уже без усталости. Впервые в её взгляде появилось что-то твёрдое, древнее, как камень под асфальтом.

— Вы уже всю жизнь отказывались, Вадим Олегович. Здесь это не считается уважительной причиной.

Талон в моей руке вдруг стал тяжелее. Смешно, конечно. Бумажка не может весить больше двух граммов. Но эта весила много. Триста двенадцать, если верить местной бухгалтерии. Я отошёл от окна и сел на ближайший пластиковый стул. Мужчина с шахматами посмотрел на талон, присвистнул и покачал головой.

— Касса, значит. Неприятно.

— Вы знаете, что это?

— Нет. Но кассы вообще редко сулят человеку духовное облегчение.

Я хотел ответить, но в этот момент табло щёлкнуло. Номера погасли, потом вспыхнули снова, красные, как недосказанные слова. Динамик сухо произнёс:

— Синицын Вадим Олегович. Касса номер четыре.

Зал ожидания затих. Даже толстяк с розами перестал храпеть. Где-то далеко, за стеклянными дверями, будто сквозь воду, завывала сирена. Может быть, моя. Может быть, чья-то ещё. В городе всегда хватает сирен на всех.

Я встал и пошёл туда, куда меня вызвали. В руке я держал талон, а в голове почему-то крутилась не аптека, не скорая и не женщина у окна номер ноль, а простой вопрос, мерзкий и липкий, как жвачка под столом: сколько же людей нужно не заметить, чтобы наконец попасть к ним по очереди?

Глава 3. Касса №4

Касса номер четыре, если верить табло, находилась в конце коридора, которого ещё минуту назад не было. Это вообще было главное свойство здешнего места: оно не строилось, а вспоминалось. Стоило тебе получить талон, как где-нибудь между окном номер три и автоматом с водой без стаканчиков появлялся новый проход, новая дверь, новая щель в стене, куда тебя уже ждали. В обычной жизни мы считаем, что пространство неподвижно, что коридор есть коридор, дверь есть дверь, магазин стоит на углу, МФЦ — у метро, а больница — там, куда тебя привозят, когда тело объявляет независимость. Но здесь всё было устроено иначе. Здесь стены шевелились не снаружи, а внутри тебя. Ты вспоминал — и перед тобой открывался коридор. Ты боялся — и появлялась дверь. Ты врал себе — и где-то щёлкал замок.

Я шёл с талоном в руке и пытался держаться так, будто у меня ещё оставалась хоть какая-то власть над происходящим. Смешная мужская привычка — даже после смерти или чего-то очень похожего на смерть идти с видом человека, который просто зашёл не в тот кабинет. Плечи расправлены, лицо недовольное, шаг деловой. Внутри при этом всё болталось, как банка с окурками в багажнике. Коридор был узкий, длинный, с теми самыми стенами грязно-персикового цвета, которыми у нас почему-то любят мазать учреждения, где человек постепенно перестаёт чувствовать себя человеком. На стенах висели плакаты. Не обычные, не «моя семья — моя крепость» и не «осторожно, мошенники», а какие-то местные, от которых становилось хуже: «Ваше случайное слово может быть использовано против вас», «Не оставляйте равнодушие без присмотра», «Перед выходом проверьте, все ли люди были замечены». Последний висел криво, и в углу кто-то карандашом приписал: «Поздно».

Из-за дверей доносились звуки. Где-то плакал ребёнок. Где-то ругался мужчина, доказывая кому-то, что он «ничего такого не имел в виду». В одной комнате смеялись — коротко, нервно, некрасиво, как смеются люди, которым уже нечем прикрыться. Под потолком жужжала лампа. Пол пах мокрой тряпкой и старым линолеумом, хотя линолеума не было. Я подумал, что если у вечности есть запах, то это не ладан, не облака и не цветущие сады, а именно мокрая тряпка в коридоре, которую забыли прополоскать. Человечество вообще слишком много о себе думает. Мы мечтаем, чтобы нас судили среди звёзд, а нас, похоже, разбирают в помещении, где из кулера течёт тёплая вода.

Дверь с табличкой «Касса №4» была металлическая, зелёная, как в подсобках супермаркетов. Краска на ней пузырилась, возле ручки темнело пятно от тысяч ладоней. Я остановился. Талон в руке стал влажным. Сердца у меня вроде бы уже не было в привычном смысле, но где-то в груди всё равно работал какой-то его жалкий заместитель — маленький чиновник с печатью «тревога». Он стучал не ритмично, а по ситуации.

— Ну? — сказал голос за спиной.

Я обернулся. Мужчина с шахматной доской стоял у стены и смотрел на меня с интересом человека, который провожает соседа к стоматологу: сочувствует, но рад, что не его.

— Вы за мной следите? — спросил я.

— Наблюдаю. Это другое.

— Зачем?

— А тут больше нечем заняться. Газет нет, телевизор сломан, вай-фай, как я уже говорил, до совести не добивает.

— Вы знаете, что за этой дверью?

Он пожал плечами.

— Для вас — касса. Для меня была шахматная секция при ДК «Металлург». Для одной женщины, с которой я познакомился у окна номер два, — кухня её сестры. Здесь у каждого своя комната стыда, Вадим Олегович.

— Откуда вы знаете моё отчество?

— Тут все всё слышат, когда вызывают. Не переживайте. Стыд коллективный, но переживается индивидуально.

Он усмехнулся, но глаза у него были не смешные. Такие глаза бывают у людей, которые уже посидели в своей комнате и вернулись обратно с чем-то внутри сломанным, но аккуратно сложенным. Я хотел спросить, что он там увидел, но дверь вдруг щёлкнула сама. Не открылась — именно щёлкнула. Как кассовый аппарат, который выбил чек.

Мужчина кивнул на дверь.

— Идите. Пока вас зовут по-хорошему.

— А бывает по-плохому?

— Здесь всё по-хорошему. В этом и ужас.

Я взялся за ручку. Металл был тёплый, почти живой. На секунду мне показалось, что за дверью действительно будет какая-то комната, стол, сотрудник, возможно, ещё одна Надежда Павловна, только в другом кардигане. Но когда я открыл дверь, на меня пахло курицей-гриль, мандаринами, мокрыми пуховиками, дешёвым хлебом, химической клубникой из йогурта и тем особенным магазинным отчаянием, которое живёт в супермаркетах после семи вечера, когда люди приходят туда не за едой, а за доказательством, что день всё-таки можно чем-то закончить.

Я стоял в «Пятёрочке».

Или в «Дикси». Или в любом другом магазине у дома, которые в Москве отличаются друг от друга примерно как разные виды усталости. Те же узкие проходы, те же тележки с кривыми колёсами, те же люди, трущиеся друг о друга у полки с молоком, те же акции, где пачка макарон стоит дешевле, если ты готов продать магазину номер телефона, дату рождения и кусок своей души. Над головой мигали лампы. Из динамиков лилась песня, которую нельзя было назвать музыкой, потому что музыка хотя бы иногда подозревает, что у человека есть внутренний мир. На полу возле овощей лежала раздавленная виноградина. Возле входа пахло мокрой собакой, хотя собак не было. Или была — городские запахи, как и вина, редко имеют одного хозяина.

— Следующий! — крикнул женский голос.

Я обернулся. Касса номер четыре стояла в конце ряда. За ней сидела женщина лет сорока пяти, может, пятидесяти. Лицо у неё было не старое, но уже помятое жизнью так, как мнут чек, когда сумма не совпадает с тем, на что ты надеялся. Светлые волосы были собраны в хвост, на висках выбились влажные пряди. На красной жилетке висел бейдж: «Ольга». Под глазами — тени. На губах — остатки помады такого розового цвета, который женщины покупают не потому, что он им идёт, а потому что на ценнике было написано «скидка». Она пробивала товары быстро, зло, механически: хлеб, молоко, корм для кота, водка, бананы, зубная паста, курица, пакет нужен, карта есть, следующий. Руки у неё двигались отдельно от лица, как рабочие детали механизма, которому никто не обещал выходного.

Я не сразу её узнал. В этом и была вся мерзость. Я видел перед собой женщину, которую, если верить талону, когда-то ранил грубостью весом триста двенадцать граммов, а внутри не звякнуло ничего. Никакого узнавания. Никакой драматической вспышки. Просто кассирша. Просто Ольга. Просто одна из тех женщин, чьими руками проходит чужая жизнь в пакетах: чужие завтраки, чужие ужины, чужие бутылки «по акции», чужие влажные салфетки, чужие шоколадки ребёнку «только одну», чужие прокладки, чужие презервативы, чужая гречка, чужой стыд купить самый дешёвый сыр. Сколько таких Ольг было в моей жизни? Десятки. Сотни. И я ни одной не запомнил, потому что кассирша для городского человека — это не человек, а интерфейс между голодом и чеком.

Я подошёл ближе. Люди стояли в очереди, и я почему-то тоже встал. Передо мной был мужчина в строительной куртке с бутылкой пива и двумя плавлеными сырками. Перед ним — девушка с ребёнком, который орал так, будто ему только что объяснили устройство налоговой системы. У кассы не работала лента, товары застревают, кто-то ворчал, кто-то вздыхал, кто-то переступал с ноги на ногу с выражением священной русской муки: все страдают, но каждый уверен, что его страдание самое законное.

- Карта есть? — спросила Ольга у девушки.
- Сейчас, подождите, — сказала та, роясь в сумке.
- Я жду.
- Да где-то была...
- Ребёнок схватил шоколадку с прикассовой стойки.
- Артём, положи! — рявкнула девушка.
- Мам, хочу!
- Я сказала, положи!
- Уберите ребёнка от товара, — сказала Ольга.
- Девушка вскинула голову.
- Он ребёнок вообще-то.
- А я кассир вообще-то.

Строитель передо мной тихо хмыкнул. Я смотрел на Ольгу и пытался найти в себе тот самый день. Память сопротивлялась. Она вообще хитрая тварь. Она охотно хранит, как тебя обидели, кто не поздравил, кто посмотрел свысока, кто занял твоё место, кто не вернул долг, кто назвал тебя «интересным, но сложным». А вот моменты, когда ты сам был чьей-то последней каплей, память заворачивает в газетку и выносит на помойку. Очень удобно. Очень экологично.

Очередь продвинулась. Строитель положил на ленту пиво и сырки. Ольга пробила товары, не глядя на него.

- Пакет?
- Не, так донесу.
- Сто восемьдесят девять.

Он приложил карту. Терминал пискнул. Ольга отдала чек. Мужчина ушёл, и теперь перед кассой стоял я. Руки мои были пустые. Я вдруг понял, что не знаю, что делать. В магазине без товаров человек выглядит подозрительно, даже если он, возможно, умер. Ольга подняла на меня глаза.

- Вы что брать будете?

Голос был тот самый. Не потому что я его помнил, а потому что он был из тех голосов, которые слышишь каждый день и не слышишь никогда: хриловатый, усталый, обтёртый о тысячи «а почему цена другая?», «у вас сдачи нет?», «можно побыстрее?», «девушка, вы там уснули?».

- Я... — начал я и замолчал.

Она посмотрела на мои пустые руки, потом на лицо.

- Мужчина, очередь держите.

- Вы меня знаете?

- Господи, — сказала она и откинулась на спинку стула. — Началось.

- Что началось?

— Тут все так заходят. Сначала: «Вы меня знаете?» Потом: «Я не хотел». Потом: «У меня был тяжёлый день». Потом: «А что я такого сказал?» Вы по какому пункту?

Очередь за моей спиной исчезла. Не растворилась эффектно, не рассыпалась пеплом. Просто в какой-то момент я понял, что мы с Ольгой остались одни. Магазин тоже изменился. Полки стали темнее, проходы длиннее, лампы зажужжали глуше. Динамик продолжал играть что-то попсовое, но звук был будто из соседней жизни. Ольга сняла с головы резинку, заново стянула волосы и посмотрела на меня уже иначе. Не как кассир на покупателя. Как человек на человека, который наконец пришёл за своим чеком.

— Ольга, — сказал я, прочитав бейдж. Глупо, конечно. Имя было у неё на груди, а я произнёс его так, будто совершил нравственный подвиг.

- Молодец. Бейдж освоили. Уже лучше, чем в прошлый раз.

— В прошлый раз?

Она усмехнулась.

— Ну вот. Пункт четвёртый. «А что было в прошлый раз?»

— Я правда не помню.

— Конечно. Вам и не надо было помнить. Это же не вас потом трясло в подсобке между коробками с бананами и туалетной бумагой.

Фраза ударила неприятно, но пока не больно. Боль требует подробностей, а подробности ещё не подошли. Я стоял перед кассой, как школьник перед доской, на которой написан пример, а он даже не помнит, какой сегодня предмет.

— Скажите, что я сделал, — попросил я.

Ольга посмотрела на меня долго, почти с любопытством.

— Удивительные вы люди.

— Какие?

— Которые сделали. Вам всегда кажется, что если вы попросили рассказать, то уже почти извинились.

— Я не это имел в виду.

— Да вы вообще редко имеете в виду то, что получается.

Она взяла со стойки какой-то чек, смяла его, потом расправила. Руки у неё были сухие, красноватые, с маленькими трещинками возле ногтей. Такие руки бывают у людей, которые моют их слишком часто, но всё равно не могут отмыть усталость.

— Это был четверг, — сказала она. — Восемь вечера с копейками. Дождь. У нас тогда холодильник с молочкой потёк, начальница орала, что мы все криворукие, хотя холодильник старше её любовника. Свет мигал. У стажёрки случилась истерика из-за мужика, который назвал её тупой коровой, потому что у него купон не прошёл. А я села на кассу вместо Люды, потому что у Люды давление, и она в подсобке лежала на мешках с сахаром, как жертва капитализма. Красиво, да?

Я молчал.

— У меня к тому моменту сын дома с температурой был. Тридцать девять и два. Мать звонила каждые двадцать минут и говорила: «Ты когда приедешь? Он горит». А я что? Я не хирург, не фея, не богатая вдова. Я кассир, Вадим Олегович. Меня с кассы снять сложнее, чем министра с должности. Потому что министр, может, и бесполезный, а кассир нужен каждую минуту.

Она сказала моё отчество без издёвки. Это почему-то было хуже.

— Я был в тот день здесь? — спросил я.

— Нет, вы были на балу у сатаны. Конечно, здесь.

— Я не помню.

— Вы уже говорили.

Она нажала какую-то кнопку на кассе. Экран мигнул, и вокруг нас магазин снова ожил — не полностью, а как старое видео. Появились люди, но слегка прозрачные, мутные по краям. Очередь, тележки, мокрые куртки, красные корзины, детский плач, запах курицы, гул. Я увидел себя. Сначала не узнал, потому что человек редко узнаёт себя со стороны без внутренней рекламы. На вид я был обычным мужчиной: тёмное пальто, шарф, телефон в руке, лицо недовольное, взгляд поверх людей. Не злодей. Не чудовище. Не карикатура. Просто уставший городской мужчина, который считал свою усталость достаточным основанием, чтобы весь мир расступился.

Я стоял в очереди с бутылкой вина, сыром, упаковкой кофе и каким-то салатом в пластиковом контейнере. Видимо, это был один из тех вечеров, когда я покупал себе подобие ужина и подобие утешения. Телефон был прижат к уху.

— Нет, Лена, я не могу сегодня, — говорил тот я. — Потому что я только вышел. Потому что у меня тоже работа. Нет, я не забыл про Лизу, хватит начинать.

Я поморщился. Бывшая жена. Разговоры с ней у нас всегда были похожи на перетягивание мокрого каната: никто уже не хотел победить, но бросить первым казалось унижительно.

Ольга из прошлого пробивала товары. Лицо у неё было серое, глаза красные. Она двигалась быстро, но касса тормозила. Сканер не считывал штрихкод на салате. Она провела упакровкой раз, второй, третий. Сканер пискнул не сразу. Я из прошлого раздражённо посмотрел на часы.

— Да я понял, что выступление в семь, — говорил я в телефон. — Лена, я физически не могу разорваться. Ну не начинай сейчас. Не делай из меня монстра.

Ольга пробила вино.

— Пакет нужен? — спросила она.

Я прикрыл трубку ладонью.

— Что?

— Пакет нужен?

— Да.

Она достала пакет, развернула, начала складывать товары. Медленно. Не потому что хотела позлить, а потому что руки уже не успевали за магазином. Руки у живого человека иногда имеют право отставать от чужой спешки, но мы почему-то принимаем это за личное оскорбление.

— Лена, я не ору, — сказал прошлый я в телефон. — Это ты орёшь.

— Триста двенадцать рублей, — сказала Ольга.

Вот оно. Число. Триста двенадцать. Не вес грубости даже. Сумма покупки. Магази́нная, смешная, пошлая сумма за вино, салат, сыр, кофе и право почувствовать себя вечером не совсем пустым местом.

Я приложил карту. Терминал задумался.

— Ну что там? — сказал прошлый я.

— Подождите, — ответила Ольга.

— Я жду.

— Вижу.

Сейчас, со стороны, я услышал в её «вижу» не хамство, а попытку не упасть. Она держалась за эту кассу, за кнопки, за фразы, за «пакет нужен», как человек держится за поручень в автобусе, который несётся в кювет. Но тогда я этого не услышал. Тогда я услышал только то, что мне показалось неуважением к моей важной персоне, к моему разводу, к моему дедлайну, к моему вечеру, к моей боли. Сколько же у меня было «моего». Целый склад.

Терминал выдал ошибку.

— Приложите ещё раз, — сказала Ольга.

— Да вы издеваетесь? — сказал я.

Она подняла глаза.

— Терминал издевается. Я просто рядом с ним сижу.

Человек за мной хмыкнул. Маленький смешок из очереди. И всё. Мне этого хватило. Не потому, что фраза была страшная. Не потому, что очередь была длинная. Потому что внутри меня уже сидела маленькая обиженная собака, которую целый день пинали начальники, клиенты, бывшая жена, дочь своим ожиданием, жизнь своим невыполненным обещанием, и теперь эта собака наконец нашла, на кого гавкнуть.

Я наклонился к кассе.

— Можно быстрее? Вы тут не одна устали.

В магазине ничего не произошло. Никто не ахнул. Лампы не погасли. Овощи не сгнили мгновенно. Из динамиков не заиграла траурная музыка. Очередь продолжила дышать мне в

спину. Терминал снова пискнул. Ольга опустила глаза и молча взяла чек. Вот и всё. Обычная фраза. Таких фраз в Москве за день произносится столько, что если бы их собирать в мешки, город давно бы утонул в собственном раздражении. «Можно быстрее?» «Куда прёшь?» «Глаза разуй». «Ты что, тупая?» «Понаехали». «Не задерживайте очередь». «Нам всем тяжело». Мы бросаем их, как мелкие монеты в грязь, и идём дальше, уверенные, что ничего не потратили.

Я увидел, как прошлый я забрал пакет и пошёл к выходу, продолжая говорить в телефон.

— Да купил я всё. Еду. Господи, Лена, дай мне хоть десять минут тишины.

Двери магазина разъехались, и он исчез в дождливом вечере, унося сыр, кофе, вино и своё невинное лицо. А Ольга осталась. Она сидела за кассой, смотрела на следующий товар — хлеб, кажется, или творог — и несколько секунд не двигалась. Потом моргнула. Потом пробила товар. Потом спросила: «Пакет нужен?» Голос у неё изменился совсем чуть-чуть. Никто бы не заметил. Даже она, возможно, не заметила бы, если бы не знала, где именно внутри неё что-то тихо отвалилось.

Картинка погасла. Мы снова остались у кассы одни.

— Вот и всё? — спросил я.

Ольга медленно повернула голову.

— Вот и всё, — сказала она. — Я же говорю, вы не Наполеон. Вас никто не обвиняет в сожжении Москвы.

— Я сказал грубость.

— Да.

— Обычную грубость.

— Угу.

— И из-за этого я здесь?

Она засмеялась. Сухо, без веселья.

— Нет, Вадим Олегович. Вы здесь не из-за одной грубости. Вы здесь из-за того, что вам всё ещё кажется: если грубость обычная, значит, она почти не считается.

Я хотел возразить, но не нашёл, чем. Внутри поднималась старая защита, привычная, как пароль от почты: у меня был тяжёлый день; я разговаривал с бывшей; я не знал, что у неё сын болен; она тоже могла быть повежливее; люди вообще слишком чувствительные; ну не убил же я её. Последняя мысль была особенно мерзкой. «Ну не убил же» — любимая индульгенция городского мудака. Пока человек после тебя физически ходит, ты вроде как чист. Можно жить дальше.

— Я не знал, что у вас сын болел, — сказал я.

— Конечно. Вы же не спрашивали.

— Но я и не мог знать.

— А вас никто не просит знать всё. Вас просят не добавлять.

— Что не добавлять?

— Вес.

Она снова взяла чек, положила на ладонь.

— Понимаете, у каждого человека к вечеру уже что-то в руках. Кто-то несёт ребёнка с температурой. Кто-то — больную мать. Кто-то — кредит. Кто-то — развод. Кто-то — пустую квартиру. Кто-то — мысль, что если он сегодня не купит себе бутылку, то сойдёт с ума. А потом подходит другой человек и кидает сверху свою фразу. Маленькую. Обычную. Почти ничего. Триста двенадцать граммов. И всё.

— Что всё?

— Руки разжимаются.

Она сказала это спокойно. Не обвиняя. Именно спокойствие делало фразу тяжёлой. Я вспомнил талон: «Грубость весом 312 граммов». Значит, здесь взвешивали не покупки. Здесь взвешивали добавленное.

— Что было потом? — спросил я.

— После вас?

— Да.

Ольга посмотрела в сторону подсобки. Её взгляд стал плоским, будто она снова видела тот проход между коробками, ту лампу, тот сломанный стул, тот мир за кассой, куда покупатели никогда не заходят. Для нас магазин заканчивается дверью и чеком. Для них там начинается другая география: подсобки, графики, камеры, просроченный товар, начальница с глазами хищной птицы, чайник с накипью, чужие куртки на крючках, запах пота и бананов, ведро, куда капает вода из холодильника, и маленькое зеркало, в котором женщина перед сменой пытается собрать лицо обратно.

— Потом я досидела до конца смены, — сказала она. — Потому что я дисциплинированная дура. Сын дома горел, мать плакала в трубку, начальница орала, что выкладка плохая, покупатели шли, касса пищала. А я сидела и думала: сейчас встану. Вот сейчас. Ещё один чек, и встану. Ещё один пакет. Ещё один «карта есть?». Ещё один человек, которому срочно. А потом смена закончилась, я пошла в подсобку, сняла жилетку и вдруг поняла, что если завтра снова сяду на эту кассу, то я кого-нибудь ударю. Или себя. Я не знала кого. Поэтому написала заявление.

— Из-за моей фразы?

Ольга посмотрела на меня так, будто я снова пытался стащить с полки чужую боль и приклеить на неё свой ценник.

— Нет. Не льстите себе. Из-за жизни. Из-за начальницы. Из-за сына. Из-за матери. Из-за ног. Из-за того, что я десять лет говорила людям «пакет нужен?», а сама была пакетом, в который все складывали своё раздражение. Из-за всего. А ваша фраза просто легла сверху. Красиво так. Аккуратно. Как последняя банка на полку, которая уже трещит.

Мне стало стыдно. Не большим красивым стыдом, который хочется описать в дневнике и потом самому себе простить. А каким-то мелким, потным, магазинным. Стыд пах дешёвым салатом, терминалом, мокрой курткой и чужими ногами после двенадцатичасовой смены. Я пытался найти внутри себя правильное слово, но правильные слова в такие моменты выглядят как чистые ботинки в грязном подъезде: вроде хорошо, а раздражает.

— Простите, — сказал я.

Ольга кивнула, будто я назвал сумму покупки.

— Принято.

— И всё?

— А что вы хотели? Чтобы я заплакала, простила вас, и над нами заиграла скрипка?

— Нет.

— Хотели.

Я молчал.

— Все хотят. Пришёл, сказал «простите», и всё стало благородно. Вы плохой, я хорошая, мы обнялись, зритель плачет, титры. Только жизнь не касса, Вадим Олегович. Тут чек не аннулируешь.

Она встала из-за кассы. Я впервые заметил, как тяжело ей даётся это движение. Будто всё тело было набито не костями, а мокрым песком. Она вышла из-за стойки, и магазин вокруг нас снова изменился. Полки раздвинулись, касса отъехала в сторону, за ней открылся узкий проход в подсобку. Там горел мутный свет. Пахло картоном, перезрелыми бананами, пылью, дешёвым мылом и человеческой усталостью, которая нигде не проходит по документам, но везде оставляет след.

— Пойдёмте, — сказала Ольга.

— Куда?

— Дальше. Вы же хотели знать, что было потом.

Я не хотел. Конечно, не хотел. Человек вообще редко хочет знать последствия. Мы хотим знать только то, что помогает нам остаться приличными в собственных глазах. Но ноги уже пошли за ней, потому что здесь, похоже, мои желания были факультативом.

Мы вошли в подсобку. Она была маленькая, тесная, забитая коробками и пластиковыми ящиками. На стене висел график смен, весь в исправлениях. На гвозде — красная жилетка. На столе — кружка с надписью «Королева кухни», пакетик чая, две таблетки без упаковки, дешёвый телефон с треснутым экраном. Из телефона доносился голос пожилой женщины:

— Оля, ну когда ты? Он горячий весь. Я ему дала, что ты сказала, но не падает.

Ольга прошлого сидела на стуле и смотрела в одну точку. На ней уже не было жилетки. Без неё она выглядела не свободной, а раздетой. Как будто сняла не форму, а последний слой кожи.

— Мам, я еду, — сказала она в телефон. — Сейчас заявление напишу и еду.

— Какое заявление?

— На увольнение.

— Ты с ума сошла? А деньги?

— Мам, я не могу больше.

— Все не могут, Оля.

Вот она. Великая русская фраза. «Все не могут». Ею можно забивать гвозди в живых людей. Не жалуйся — все не могут. Не уходи — все не могут. Не плачь — все не могут. Не падай — все не могут. Мы построили целую страну на этой фразе, как на болотном фундаменте, и удивляемся, почему всё кренится.

Ольга прошлого закрыла глаза.

— Я правда не могу, мам.

В дверях подсобки появилась женщина в чёрной кофте, с лицом начальницы маленького ада. Такие лица я видел часто: в офисах, магазинах, поликлиниках, школах, банках. Небольшая власть, если её долго держать в непрветриваемом помещении, начинает портиться и пахнуть.

— Оля, ты чего расселась? Там возврат оформить надо.

Ольга подняла голову.

— Я заявление пишу.

Начальница даже не сразу поняла. Потом усмехнулась.

— Какое заявление? Ты смену завтра видела?

— Видела.

— И?

— И я не выйду.

— Ты нормальная вообще? У нас Люда на больничном, Светка на обучении, стажёрка ревет из-за каждого второго покупателя. Ты куда собралась?

— Домой.

— Домой она собралась. Все домой собрались. У всех дети, матери, ипотеки. Ты думаешь, ты одна тут живая?

Ольга молчала. Потом взяла лист бумаги. Рука у неё дрожала, но почерк был ровный. Я стоял рядом и смотрел, как моя фраза, маленькая, обычная, забытая мной через три минуты, лежит где-то внутри этой комнаты, как невидимый груз на столе. Не она одна толкнула Ольгу. Но она была там. В смеси. В общем весе. В той последней банке на полке.

Начальница ещё что-то говорила. Про ответственность. Про коллектив. Про то, что «так нельзя». Удивительное дело: люди, которые годами обращаются с тобой как с расходным материалом, больше всего любят говорить о твоей ответственности перед коллективом. Ольга писала. Медленно. Аккуратно. «Прошу уволить меня по собственному желанию...» Собственное желание. Какая издёвка. Иногда собственное желание — это не свобода, а последняя дырка в заборе, через которую человек выползает из горящего сарая.

Картинка снова дрогнула. Подсобка поплыла. Я оказался рядом с Ольгой уже в другом месте — на улице, ночью, у остановки. Дождь кончился, но всё было мокрым. Она стояла с пакетом в руке и смотрела на дорогу. На лице не было ни облегчения, ни ужаса. Только пустота. Такая бывает после сильного плача, когда слёзы уже закончились, а жизнь почему-то нет. Телефон снова звонил. Она ответила.

— Еду, мам. Да. Куплю жаропонижающее. Да, деньги есть. Нет, не знаю, что дальше. Мам, я не знаю.

Она убрала телефон и вдруг засмеялась. Одним коротким смешком. Не от веселья. От того, что жизнь стала настолько нелепой, что если не засмеяться, то придётся лечь прямо в лужу. Автобус подошёл, двери открылись, из него вывалился тёплый пар, запах мокрой одежды и чужого дыхания. Ольга вошла внутрь. Двери закрылись. Автобус увёз её в темноту, а я остался на остановке с ощущением, что меня заставили подержать чужую сумку, в которой оказалось слишком много.

Потом всё исчезло.

Мы снова стояли в магазине у кассы номер четыре. Ольга поправила бейдж, хотя он висел ровно.

— Дальше будет хуже? — спросил я.

— Для кого?

— Для вас.

Она подумала.

— По-разному. Сначала хуже. Потом иначе. Лучше — это слово для рекламы. В жизни обычно бывает «иначе».

— Вы нашли другую работу?

— Нашла. Не сразу. Сначала сидела дома с сыном и думала, что я дура. Потом мыла подъезды. Потом ухаживала за стариком после инсульта. Потом устроилась в пансионат. Там тоже не рай, не переживайте. Люди везде люди. Но там хотя бы, когда человек тебе хамит, ты понимаешь, что у него деменция, боль или страх смерти. В магазине у всех тоже деменция, боль и страх смерти, просто они называют это «я тороплюсь».

Я неожиданно улыбнулся. Она тоже. На секунду между нами стало почти тепло, и от этого мне стало ещё стыднее.

— Вы меня ненавидите? — спросил я.

Ольга посмотрела на меня устало.

— Раньше думала, что да. Потом забыла ваше лицо. Потом вспомнила не лицо, а фразу. Потом и фраза стала частью общего шума. Ненавидеть каждого покупателя — здоровья не хватит. Я вас не ненавижу, Вадим Олегович. Вы были просто человеком, который добавил.

— Это звучит хуже.

— Потому что точнее.

Где-то за кассами снова зашумела очередь. Магазин начал возвращаться. Полки стали ярче, динамик громче, запахи гуще. Ольга села обратно за кассу, взяла какой-то товар, провела по сканеру. Писк прозвучал резко, как маленький приговор.

— Что мне теперь делать? — спросил я.

— А я откуда знаю?

— Вы же... встреча.

— Я не наставник вам. И не ангел с методичкой. Я кассирша, которой вы однажды сказали гадость. Бывшая кассирша, если быть точной.

— Но зачем тогда всё это?

Она посмотрела на меня уже без злости. Почти мягко. Но мягкость у неё была не пушистая, а рабочая, как старая кофта, в которой удобно мыть полы и жить дальше.

— Чтобы вы перестали считать мелочи мелочами.

Я открыл рот, но она подняла руку.

— Только не надо сейчас обещать, что вы изменитесь. Люди обожают обещать, когда им страшно. Особенно мужчины. Особенно в коридорах, больницах и после измен. Просто запомните вес. Триста двенадцать граммов. Немного, да? Пакет молока тяжелее. А иногда человеку не хватает именно этого, чтобы рухнуть.

Талон в моей руке нагрелся. Я посмотрел на него. Буквы на бумаге начали расплываться, чернеть, исчезать. На обратной стороне проступила новая строка, будто кто-то писал изнутри: Просмотр завершён.

Возврат в зал ожидания.

— Ольга, — сказал я.

Она уже пробивала чьи-то яблоки. Очередь вернулась полностью, люди снова ворчали, ребёнок снова тянулся к шоколадке, мужчина в строительной куртке снова стоял с пивом, и только я, кажется, был здесь лишним, как совесть в отделе распродаж.

— Что? — спросила она, не поднимая глаз.

— Мне правда жаль.

Она остановила руку на секунду. Очень короткую. Потом провела яблоком по сканеру.

— Знаю, — сказала Ольга. — Теперь жаль.

И магазин погас.

Не сразу. Сначала исчез звук сканера, потом запах курицы, потом красные корзины, потом лицо Ольги. Последним остался свет над кассой номер четыре — грязно-белый, уставший, как глаз, который слишком долго смотрел на людей. Я снова стоял в коридоре отдела обратного влияния, с пустой рукой. Талона больше не было. На ладони осталась только маленькая серая полоска, как след от чека, который слишком долго держал.

Мужчина с шахматной доской сидел на прежнем месте. Он поднял на меня глаза.

— Ну как?

Я хотел сказать: нормально. Хотел сказать: ерунда. Хотел сказать: просто кассирша, просто фраза, просто день, просто все так живут. Но эти слова больше не пролезали. Они застре-вали где-то в горле, как сухой хлеб.

— Тяжело, — сказал я.

Он кивнул.

— Значит, правильно взвесили.

На дальнем табло мигнули новые номера. Кто-то прошёл к окну номер два, кто-то тихо заплакал у автомата с водой. Я сел рядом с шахматистом и впервые за всё время ничего не потребовал. Ни объяснений, ни возврата, ни справедливости, ни телефона. Просто сидел и смотрел на свою ладонь, где уже почти исчезал след от чека.

Через несколько минут динамик щёлкнул.

— Синицын Вадим Олегович. Получите следующий талон.

Я закрыл глаза.

Мужчина с шахматами вздохнул почти сочувственно.

— Быстро они вас.

— Кто следующий? — спросил я, хотя вопрос был не к нему.

Из окна номер ноль вышла Надежда Павловна. Или не вышла — появилась. В руках у неё был новый талон. Она подошла, протянула мне бумажку и сказала:

— Теперь будет легче. Но от этого не проще.

Я посмотрел на талон.

Подъезд. Велосипед. Незначительная доброта.

И где-то внутри меня, среди стыда, страха и липкого магазинного света, шевельнулось воспоминание о мальчишке на лестнице, тяжёлом велосипеде и дне, который я когда-то выбросил из головы, как ненужный чек.

Глава 4. Пятый этаж без лифта

После Ольги зал ожидания уже не казался мне абсурдным. Это было хуже. Абсурд хотя бы даёт человеку право посмеяться, а здесь всё постепенно становилось логичным, как плохо заполненная налоговая декларация: мерзко, унизительно, но по пунктам сходится. Я сидел на синем пластиковом стуле, держал новый талон и смотрел на три слова, которые не желали превращаться в воспоминание: «Подъезд. Велосипед. Незначительная доброта». От этого словосочетания мне почему-то было неловко сильнее, чем от «грубости весом 312 граммов». Грубость хотя бы понятна. Человек нагрубил — человек виноват, всё по схеме, можно страдать с выражением лица, достойным старой русской драмы. А вот доброта — особенно незначительная — была куда неприятнее. Потому что я не знал, что с ней делать. Я не привык считать себя добрым. Не из скромности, нет. Просто доброта у меня всегда была чем-то случайным, как сдача мелочью в кармане: иногда звякнет, иногда потеряется, иногда раздражает, когда садишься.

Мужчина с шахматной доской, которого я мысленно уже начал называть Усами, хотя имя у него наверняка было какое-нибудь более человеческое, косился на мой талон с интересом.

— О, — сказал он. — Велосипед. Это почти приятно.

— Почему почти?

— Потому что если тут что-то выглядит приятно, значит, ударят с другой стороны.

— Вы оптимист.

— Я реалист с посмертным стажем.

Он поправил шахматную доску под мышкой, будто боялся, что кто-нибудь украдёт у него последнюю возможность проиграть самому себе.

— Вы давно здесь? — спросил я.

— Сложный вопрос. Тут время то стоит, то течёт, то делает вид, что отошло покурить. По ощущениям — третий год. По табло — сорок семь минут. По моей бывшей жене, если она там уже получила повестку, — недостаточно долго.

— И вы всё ещё ждёте?

— А что делать? Здесь ожидание — это не пауза. Это, можно сказать, основная услуга.

Я посмотрел на дальние окна, на Надежду Павловну, которая снова сидела за стеклом номер ноль, склонившись над папкой. В этой женщине было что-то отвратительно устойчивое. Вокруг меня рушились представления о смерти, жизни, вине, доброте, кассирах и весе обычных фраз, а она просто переворачивала страницы, как заведующая районной библиотекой, которая знает: все ваши трагедии уже возвращали с загнутыми уголками.

— Слушайте, — сказал я Усам. — А бывает так, что человек проходит эти встречи и ему говорят: ладно, свободен, иди обратно?

— Бывает, наверное.

— Вы видели?

— Я много чего видел. Видел мужика, который двадцать минут доказывал, что измена не считается, если в командировке. Видел бабку, которая ругалась с умершим котом и проиграла. Видел чиновника, которому показывали яму во дворе, куда двадцать лет все падали, а он подписывал акты, что ямы нет. Обратно уходили некоторые. Только не так, как пришли.

— В смысле?

— А вы хотите вернуться прежним?

Вопрос повис между нами, как пакет с мусором, который кто-то оставил у лифта: вроде не твой, но пахнет всем подъездом. Я хотел сказать «да». Конечно, да. Вернуться в своё тело, в больницу, к Лизе, к матери, к неотправленной презентации, к этой проклятой жизни, которая

ещё утром казалась мне серой, мокрой и бессмысленной, а теперь сияла недоступной роскошью вроде горячей воды после аварии. Но прежним? Прежним я был человеком, который прошёл мимо женщины у аптеки и забыл кассиршу, добитую его фразой. Прежним я был удобен сам себе, как старое кресло с продавленным сиденьем: уродливое, но привычное.

— Не знаю, — сказал я.

Усы кивнули.

— Хороший прогресс. У нас тут «не знаю» ценится выше, чем «я всё понял».

Я собирался спросить, за что он сам попал в свой шахматный ДК, но табло щёлкнуло, лампы над нами дрогнули, и весь зал ожидания на секунду стал похож на старый вокзал, в котором объявляют поезд, ушедший двадцать лет назад. Динамик прохрипел:

— Синицын Вадим Олегович. Подъезд. Велосипед. Пятый этаж.

Усы подняли брови.

— Ну вот. Не успели отдохнуть от собственной мерзости, а уже пора к собственной личности.

— Вы так говорите, будто это хуже.

— Иногда хуже. Плохое в себе человек ещё как-то готов признать, если его достаточно прижать. А вот хорошее — это страшнее. Оно предъявляет счёт за всё, чем ты мог быть, но не стал.

Я встал. Талон снова нагрелся в ладони, как маленькое животное. Коридор появился справа от автомата с водой, там, где раньше была стена с плакатом «Не спорьте с последствиями». Теперь вместо плаката зияла дверная арка, за которой пахло подъездом. Не абстрактно, не литературно, а точно: сыростью, старой краской, кошачьей мочой, жареным луком из какой-то квартиры, пылью на батареях, холодным бетоном и чем-то металлическим, как пахнут перила, если зимой взяться за них голой рукой. Запах ударил мне в лицо, и память, которая только что притворялась мёртвой, вдруг зашевелилась. Да, я знал этот запах. Не вообще подъездный, а именно этот. Дом на окраине, где я снимал однушку после развода, когда считал себя временно свободным, а на самом деле просто никому не нужным в новой квартире с икеевской лампой и матрасом на полу.

Я вошёл в арку.

Под ногами уже была не плитка отдела, а старые ступени с отбитыми краями. Стены — грязно-жёлтые, внизу покрашенные коричневой масляной краской до уровня человеческого отчаяния. Почтовые ящики у входа висели криво, как зубы у пьющего бога. На одном кто-то маркером написал: «ДЕНЕГ НЕТ», на другом — «НЕ СРАТЬ РЕКЛАМУ». На подоконнике между первым и вторым этажом стояла банка с окурками, превращённая в общественную пепельницу без согласования жильцов. Где-то наверху лаяла маленькая собака, такая злая, будто ей тоже выдали талон и она не согласна с формулировкой.

Дверь в подъезд хлопнула за мной, хотя я её не открывал. С улицы донёсся шум дождя, далёкие машины, крик женщины: «Саш, быстрее!» Я замер. Имя проскочило слишком быстро, но внутри что-то отозвалось.

Саш.

На лестничной площадке первого этажа стоял мальчик лет девяти. Худой, лохматый, в синей куртке с оторванной светоотражающей полоской, мокрые волосы прилипли ко лбу, на щеке — грязная полоса, будто он только что бодался с асфальтом и проиграл. Рядом с ним лежал велосипед. Не детский красивый велосипед из рекламного каталога, а тяжёлая, ободранная железная зверюга с ржавой цепью, кривым рулём и колёсом, которое, кажется, жило отдельно от конструкции. Велосипед был ему явно велик. Или он был мал для мира, где ребёнку приходится самому затаскивать такие вещи на пятый этаж без лифта.

Мальчик пыхтел, тянул велосипед за руль, велосипед упирался педалью в ступеньку и не желал становиться частью человеческого прогресса. У него на багажнике болталась верёвка,

к раме был примотан кусок изолянта, на звонке наклейка с облезшим динозавром. Я смотрел на эту железку, и воспоминание стало разворачиваться медленно, как ковёр, который годами лежал в кладовке и пропах мышами, пылью и прошлой жизнью.

Да. Был такой подъезд. Был мальчик. Был велосипед. Был я — моложе лет на семь или восемь, с более ровной кожей, с ещё не совсем умершей верой, что развод — это не конец, а начало чего-то свободного и красивого. Какая милая глупость. После развода человек часто думает, что вышел из клетки, а потом обнаруживает, что клетка просто переехала внутрь и теперь её сложнее проветрить. Я тогда снимал квартиру на пятом этаже в доме без лифта, потому что денег хватало либо на лифт, либо на район, где по ночам не орали под окнами. Я выбрал район. Ошибся, конечно. Орали везде.

Мальчик поднял глаза и увидел меня. Точнее, увидел того меня, который входил в подъезд из прошлого: мокрое пальто, пакет с продуктами, в руке ключи, лицо человека, который весь день изображал нормальность и теперь мечтал только снять ботинки. Я стоял чуть в стороне от себя, как зритель на спектакле, где главную роль почему-то дали мне без репетиций.

Прошлый я остановился у почтовых ящиков. Мальчик снова потянул велосипед. Педаль застряла. Велосипед с грохотом завалился набок. Где-то наверху кто-то крикнул:

— Да чтоб вы там все провалились! Спать ребёнок не может!

Мальчик испуганно втянул голову в плечи. Не от крика даже, а от привычки. Так втягивают голову дети, которые уже знают: взрослый звук опасен, даже если он летит не в тебя. Он поднял велосипед, но рука соскользнула. На пальцах у него была ссадина, свежая, с розовой кожей по краям.

— Твою ж... — тихо сказал он, почти шёпотом, но очень взрослой интонацией.

Прошлый я усмехнулся.

— Сильно сказано.

Мальчик покраснел.

— Извините.

— За что?

— Ну... за слово.

— Я слышал хуже. В основном от людей с высшим образованием.

Мальчик не понял, но улыбнулся краем рта. Очень осторожно. Улыбка у него была как котёнок, который вышел из-под дивана, но ещё готов в любой момент нырнуть обратно.

— Тебе куда? — спросил прошлый я.

— На пятый.

— Велик тоже на пятый?

— Да.

— Он у тебя живёт, что ли?

Мальчик посмотрел на велосипед, потом на меня.

— Во дворе украдут.

— Логично.

— У нас уже у Димки украли. Потом нашли на помойке без колеса.

— Значит, твоему повезло. У него пока оба колеса, хотя одно выглядит сомнительно.

Мальчик снова улыбнулся, уже чуть смелее, но тут же посмотрел вверх, будто проверял, не запрещено ли это в подъезде.

Прошлый я стоял с пакетом. В пакете были яйца, хлеб, бутылка кефира и что-то ещё, что теперь казалось невероятно важным и бессмысленным. Я помню — или мне здесь позволили вспомнить, — что я тогда был не в плохом настроении. Это важно. Я не совершил подвиг через сопротивление собственной гнили. Я просто был в редком состоянии городской пригодности. Не счастлив, нет. Счастье — слишком громкое слово для мужика с пакетом кефира в подъезде без лифта. Но в тот вечер меня не успели окончательно испортить. Клиент утвердил концеп-

цию. Бывшая жена не звонила. Дождь был не противный, а какой-то кинематографичный. В магазине кассирша сказала мне: «Хорошего вечера», и я даже не воспринял это как нападение. Бывают такие двадцать минут в жизни, когда ты почти человек.

— Давай помогу, — сказал прошлый я.

Мальчик напрягся.

— Я сам.

— Вижу. Ты уже почти победил второй закон физики.

— Чего?

— Неважно. Хватай сзади.

Он замялся.

— А вы не украдёте?

Прошлый я посмотрел на велосипед. Велосипед выглядел так, будто его могли украсть только из чувства мести к миру.

— Я похож на человека, который ворует велосипеды?

Мальчик внимательно меня изучил. Дети из таких подъездов быстро учатся смотреть на взрослых не глазами, а кожей: опасный, пьяный, злой, нормальный, лучше отойти, можно спросить. Он пожал плечами.

— Не знаю.

— Честно.

— У мамы телефон украл мужик в костюме.

— Тогда справедливо. Мужикам в костюмах вообще нельзя доверять. Я сегодня без костюма.

Мальчик подумал и взялся за багажник.

Мы — прошлый я и маленький Саша — начали поднимать велосипед. Я стоял рядом, как невидимый лишний свидетель собственного нормального поступка, и от этого было странно. Плохие поступки хотя бы знакомы: их можно ненавидеть, оправдывать, обнюхивать, ковырять, страдать. А хороший поступок, который ты не запомнил, ставит тебя в тупик. Он как найденная фотография, где ты улыбаешься кому-то по-настоящему и уже не понимаешь, кто этот человек на снимке и куда он потом делся.

На первом пролёте велосипед ударился рулём о стену. С неё посыпалась штукатурка.

— Осторожно, — шепнул Саша.

— Стене уже всё равно.

— Это тётя Валя ругаться будет.

— За стену?

— За шум. Она за всё ругается.

— Тогда мы ей дадим повод не зря прожить вечер.

Саша хихикнул. Тихо, сдержанно, как человек, который не уверен, что смех ему разрешён. Мы поднялись на второй этаж. На площадке пахло жареной картошкой и кошачьим кормом. Возле двери стояли мужские тапки сорок шестого размера и детские кроссовки, из которых торчали мокрые газеты. На стене висел оборванный календарь с церковными праздниками за позапрошлый год. В окне между этажами отражались наши фигуры: мужчина с пакетом и ребёнок, несущие старый велосипед вверх, словно тащат не железку, а какое-то нелепое доказательство, что мир ещё не совсем списан.

— Тяжёлый, зараза, — сказал прошлый я.

— Он горный.

— Он шахтёрский, по-моему.

— Мне дядя Коля отдал.

— Хороший дядя?

Саша замолчал на секунду.

— Когда не пьёт.

Ответ был сказан буднично, без трагедии. Вот что всегда хуже всего в детской боли — она быстро учится говорить буднично. Ребёнок не произносит: «В моей жизни есть нестабильный взрослый с алкогольной зависимостью, и это формирует моё недоверие к миру». Он говорит: «Когда не пьёт». И тащит велосипед на пятый этаж.

Прошлый я тоже услышал эту паузу. Не знаю, понял ли. Наверное, не до конца. Я тогда ещё не был совсем камнем, но уже начал покрываться коркой. Всё, что требовало от меня глубокого участия, я инстинктивно обходил. Не потому что был жестоким — я всё время возвращаюсь к этому, как вор возвращается к месту преступления, — а потому что участие означает: потом уже нельзя будет сказать, что ты не видел. А я очень любил не видеть. Это была моя суперспособность.

— А отец? — спросил прошлый я и тут же пожалел. Вопрос вылетел случайно, как спичка из коробка, и мог поджечь что угодно.

Саша дёрнул плечом.

— Не живёт.

— Понял.

— Он в Балашихе.

— Это почти не живёт.

Саша фыркнул, не удержался.

— Мама тоже так говорит.

Мы поднялись на третий. Здесь из-за двери лилась телевизионная стрельба, кто-то смотрел боевик на такой громкости, будто хотел попасть в сюжет. На подоконнике стояла высохшая герань, умершая, но не выброшенная, как многие вещи в наших подъездах и семьях. Велосипед снова застрял педалью.

— Подними руль выше, — сказал прошлый я.

— Не могу.

— Можешь. Просто он делает вид, что главный.

— Он всегда так.

— Значит, характер есть. Это сейчас ценится.

Саша старался. Лицо у него покраснело, дыхание стало частым. Он был из тех мальчиков, которым слишком рано объяснили, что просить помощи стыдно. Такие дети потом вырастают в мужчин, которые умирают на кухнях, но говорят в трубку: «Нормально, мам, просто устал». Или в женщин, которые тащат всё на себе, пока позвоночник не начинает писать заявление об увольнении. Я смотрел на Сашу и вдруг почувствовал к нему болезненную нежность — не сентиментальную, не мягкую, а злую. Хотелось подойти и сказать ему: проси, дурак. Проси сейчас, пока не поздно. Пока помощь ещё может быть велосипедом, а не реанимацией.

Но я не мог вмешаться. Я был зрителем. А прошлый я, как ни странно, сделал всё сам.

— Давай поменяемся, — сказал он. — Я понесу основное, ты держи колесо, чтобы не било по стене.

— Оно грязное.

— В этом доме всё грязное. Не выделяйся.

Саша послушался. На четвёртом этаже он уже почти перестал бояться. Начал рассказывать. Про то, что велосипед быстрый, только тормоза плохие. Про то, что во дворе есть горка, с которой можно разогнаться так, что в животе щекотно. Про то, что он однажды доехал до пруда и обратно, а мама не узнала, потому что была на смене. Про то, что у велосипеда раньше был фонарик, но Димка открутил «просто посмотреть», а потом потерял. Говорил он торопливо, захлёбываясь, как будто окно открылось, и надо успеть выпустить наружу хоть немного воздуха из переполненной комнаты внутри.

Прошлый я слушал. Не идеально, конечно. Я не превращался в мудрого наставника в подъезде с облезлой краской. Я кряхтел, переставлял велосипед, иногда смотрел на часы, иногда думал о своём кефире, который теплеет в пакете. Но я не рявкнул. Не сказал «мне некогда». Не сделал лицо человека, которого чужой ребёнок обременил своим существованием. И вот это, как выяснилось, уже было много. Ужасно мало — и много. Какая-то дешёвая милость, купленная по акции, а кому-то пригодилась на годы.

На пятом этаже Саша остановился у двери с облупившейся цифрой 87. Дверь была старая, деревянная, обитая дерматином, из-под которого торчала вата. Возле звонка приклеена бумажка: «НЕ ЗВОНИТЬ! СТУЧАТЬ!» Видимо, звонок давно умер и оставил завещание. Саша поставил велосипед у стены, бережно, почти торжественно.

— Спасибо, — сказал он.

— Пожалуйста.

Прошлый я выпрямился, потёр поясницу.

— Ты его каждый день таскаешь?

— Когда катаюсь.

— А катаешься часто?

— Когда можно.

— Кто решает, можно или нет?

Саша посмотрел на дверь.

— По-разному.

За дверью раздался женский голос:

— Саша? Это ты?

— Я!

— Ты чего там гремишь опять?

— Ничего!

Он сказал это быстро, почти испуганно, и посмотрел на прошлого меня так, будто тот теперь был соучастником. Прошлый я поднял пакет.

— Всё, гонщик. Береги свой танк.

Саша кивнул, но не ушёл. Мялся, смотрел на велосипед, на меня, на дверь. Потом спросил:

— А вы на каком этаже?

— Тоже на пятом.

— Тут?

— На другой стороне. Квартира восемьдесят один.

— Я вас видел.

— Сочувствую.

— Вы всегда быстро ходите.

Прошлый я усмехнулся.

— Потому что медленно страшнее.

Саша не понял, но запомнил. Это было видно. Дети иногда запоминают фразы не потому, что поняли, а потому что фраза звучит как ключ от двери, которую они откроют позже. Он кивнул серьёзно, будто ему доверили государственную тайну.

— Ладно, — сказал прошлый я. — Если опять застрянешь с этим чудовищем, зови.

Саша оживился.

— Правда?

— Только не в шесть утра.

— Я в шесть не катаюсь.

— Правильно. В шесть утра катаются только маньяки и курьеры.

Он улыбнулся. Уже по-настоящему. Не широко, не киношно, а так, как улыбается ребёнок, которому на секунду стало безопасно. Эта улыбка была такой короткой, что прошлый я, скорее всего, даже не успел её оценить. Я тогда просто пошёл к своей двери, открыл замок, вошёл в квартиру, поставил пакет на пол, выругался из-за разбитого яйца и через пять минут забыл всю сцену. Забыл. Полностью. Как забывают чек в кармане, как забывают имя сантехника, как забывают лицо женщины, которая держала дверь, пока ты заносил шкаф.

Но Саша не забыл.

Лестничная площадка дрогнула. Прошлый я растворился у своей двери. Велосипед исчез. Дверь 87 поплыла, стала другой — металлической, современной, с видеозвонком. Стены подъезда тоже изменились: коричневую краску заменили серой, почтовые ящики стали новыми, на полу появилась плитка под мрамор, тот самый подъездный гламур, который делает жизнь не лучше, а просто менее честной. На площадке стоял взрослый мужчина лет тридцати. Высокий, худой, в форме фельдшера скорой помощи. Тёмные круги под глазами, короткие волосы, на переносице след от маски, руки крупные, с царапинами, ногти коротко срезаны. На плече висела медицинская сумка. Лицо у него было усталое, но не потухшее. В таких лицах есть странный свет — не радость, нет, а привычка быстро различать, жив человек или просто делает вид.

Он смотрел на меня.

— Здравствуйте, Вадим Олегович.

Я сразу понял. Не умом даже. По тому, как он держал плечи. По какой-то детской серьёзности, оставшейся в подбородке. По глазам, которые смотрели внимательно, но без просьбы.

— Саша? — сказал я.

— Александр, если по документам. Но вы можете Саша. Вам можно.

— Вы... выросли.

Он улыбнулся.

— Бывает с детьми. Неприятно для взрослых, которые думали, что мир стоит на паузе.

Я хотел сказать что-нибудь нормальное, но не знал что. Передо мной стоял человек, для которого я когда-то поднял велосипед. Человек в форме скорой. Человек, который, возможно, каждый день останавливался рядом с теми, мимо кого остальные проходили. И мне стало тесно в собственном горле.

— Мне сказали, я изменил вашу жизнь, — выговорил я наконец и тут же понял, как глупо это звучит. Словно я пришёл получить отзыв на оказанную услугу.

Саша поправил ремень сумки.

— Не всю. Не переживайте. Всю жизнь одному человеку изменить трудно, даже если очень стараться. Обычно люди меняют друг другу направление на пару градусов. А потом через годы выясняется, что этого хватило, чтобы попасть не туда. Или, наоборот, туда.

— Из-за велосипеда?

— Из-за вас.

— Я просто помог донести.

— Вот именно.

Он сел на ступеньку, будто мы были не в странном посмертном подъезде, а в обычном доме после вызова, когда можно на минуту присесть и сделать вид, что спина не горит. Я сел напротив. Между нами была лестница. Та самая, по которой когда-то тащили железного монстра с облезлым динозавром на звонке.

— У нас в подъезде мужики были разные, — сказал Саша. — Один всегда орал на жену так, что батареи звенели. Другой курил у окна и говорил мне: «Пошёл отсюда, мелкий». Третий вечно спал на лавке во дворе летом. Дядя Коля мог быть добрым, а мог швырнуть кружку в стену, если день не задался. Отец приезжал редко, привозил шоколадку и обещал забрать меня

на выходные. Потом не забирал. Я тогда думал, что взрослый мужчина — это такая погода. Никогда не знаешь, будет дождь или прилетит по голове.

Он говорил спокойно. Не жаловался. Люди, которые много видели чужую боль, часто свою рассказывают как адрес: дом такой-то, подъезд такой-то, этаж пятый, без лифта.

— А вы просто помогли, — сказал он. — Не потому что мама попросила. Не потому что вам было выгодно. Не потому что вы мой родственник. Не потому что я заслужил. Просто увидели, что мне тяжело, и взяли вторую сторону.

Я опустил глаза на свои руки.

— Саша, я даже не помнил этого.

— Знаю.

— Это же ужасно.

— Почему?

— Потому что для вас это оказалось важным, а я выбросил из головы.

— Ну и что? Солнце тоже не помнит, кому оно утром попало в окно.

— Красиво сказано.

— Это я у одной бабушки на вызове услышал. Она умирала, но формулировала лучше половины живых.

Он улыбнулся, потом стал серьёзным.

— Вы не обязаны были помнить. Мне тогда было важно не то, что вы запомните. Мне было важно, что в тот момент вы не прошли мимо.

Фраза попала точно туда, где уже сидела женщина у аптеки. Я даже вздрогнул. Саша заметил.

— Да, — сказал он. — Тут всё рифмуется, Вадим Олегович. Неприятное свойство жизни. Она сначала разбрасывает детали, как попало, а потом в конце оказывается, что это был не мусор, а схема.

— Вы знаете про женщину?

— Не всё. Но достаточно.

— И что мне с этим делать?

Саша посмотрел на лестницу.

— Сейчас? Сидеть. Слушать. Не убегать.

Это прозвучало просто, без мистики. Как указание фельдшера: дышите, не вставайте, голову не запрокидывайте. Я кивнул. Наверное, впервые за долгое время — нет, не так, эту фразу я уже ненавижу, — впервые не по привычке, а потому что действительно был готов слушать.

— После того вечера, — продолжил Саша, — я ещё долго таскал велосипед сам. Вы не стали моим лучшим другом. Не приходили ко мне на дни рождения. Не учили меня чинить тормоза. Не говорили, что я молодец. Вы вообще через пару месяцев съехали, кажется.

— Да.

— Но я запомнил другое. Что можно помочь чужому, даже если он тебя не касается. Для ребёнка это странная мысль. Особенно если дома все живут по принципу: твоё — тащи сам, чужое — не трогай, слабость — прячь, просьба — унижение.

Он снял с плеча медицинскую сумку и поставил рядом. Сумка тяжело стукнула о ступеньку.

— Я потом в школе одного мальчишку оттащил от драки. Он был мелкий, его били двое. Я не был храбрым. Я боялся, что мне тоже дадут. И дали, кстати. Нос разбили. Мать потом орала, что я идиот, потому что «не твоё дело». А я стоял в ванной, кровь в раковину капала, и почему-то думал про тот велосипед. Про то, что вы тоже могли сказать: не моё дело.

Я хотел возразить, сказать, что нельзя строить из случайного жеста целую мораль, что я не заслужил этой роли, что я был обычным мужиком с кефиром, не пророком подъездного

гуманизма. Но вовремя прикусил язык. Ольга уже объяснила мне: не надо воровать у чужой боли красивый смысл. Теперь, наверное, не надо было воровать и у чужого тепла его происхождение. Если человек нашёл опору в твоём случайном движении, не надо тут же прибегать и кричать: «Подождите, я не это имел в виду!»

— А потом? — спросил я.

— Потом жизнь. Школа, училище, армия не взяла по здоровью, медколледж. Я хотел сначала в автомеханики, потому что велосипеды, мопеды, всё такое. Но как-то пошёл волон-тёром на соревнования, там парень упал, приступ, все бегают, орут, а один фельдшер просто сел рядом и начал делать своё дело. Спокойно так. Я смотрел и думал: вот это профессия. Человек лежит, все вокруг превращаются в кур, а ты подходишь и берёшь вторую сторону. Не всю жизнь тащишь. Просто в этот момент берёшь.

— Вторую сторону, — повторил я.

— Да. Так я это себе объяснял. Велосипед, носилки, пьяный мужик на лестнице, бабушка с инсультом, ребёнок с температурой, женщина у аптеки... Всегда есть какая-то вторая сторона, за которую кто-то должен взяться.

Женщина у аптеки снова вспыхнула перед глазами: коричневое пальто, серые перчатки, блистер на мокром асфальте. Я почувствовал, как что-то внутри меня сжалось, но Саша не дал мне уйти туда полностью.

— Не забегайте, — сказал он.

— Куда?

— Туда, где вы самый плохой человек на свете. Это тоже форма эгоизма.

Я поднял глаза.

— Что?

— Ну да. Сначала человек думает: я ни на что не влияю. Потом ему показывают пару вещей, и он сразу: я чудовище, я всё разрушил, я виноват во всём. Очень удобно. Всё равно центр мира, только с минусом.

Я молчал. Саша говорил без злости, но точно. У фельдшеров вообще, наверное, развивается особый голос: если будешь слишком мягким — не услышат, слишком жёстким — сло-маются, поэтому говоришь так, будто ставишь капельницу.

— Вы были для меня не святым, — сказал он. — Вы были мужиком, который помог донести велосипед. Этого достаточно. Не надо становиться больше. И меньше тоже не надо.

За дверью 87 послышался детский голос из прошлого:

— Мам, мне дядя помог!

Женщина за дверью ответила что-то усталое, невнятное. Наверное: «Скажи спасибо и мой руки». Или: «Опять весь грязный». Или: «Только не ставь его в коридоре». Ничего великого. Жизнь редко отвечает на маленькие чудеса фанфарами. Обычно она говорит: мой руки.

Саша встал.

— Пойдёмте.

— Куда?

— Покажу одну вещь.

Подъезд снова изменился. Пятый этаж растянулся, как сон. Двери стали дальше друг от друга, лестничный пролёт превратился в узкий коридор больницы, но не до конца: стены всё ещё пахли подъездом, а пол уже блестел больничной чистотой. Где-то за стеной пищал монитор. Пахло спиртом, мокрыми куртками и страхом. Мы оказались в приёмном отделении. Люди сидели на стульях, кто-то держал пакет с документами, кто-то прижимал к груди куртку, женщина в углу тихо молилась, глядя не вверх, а в линолеум — видимо, давно поняла, что Бог в больницах чаще ходит низко, между бахилами.

Саша был уже в форме, моложе, чем сейчас, лет двадцать пять. Он и ещё один фельдшер везли на каталке старика. Старик ругался.

— Не надо мне ничего! Домой хочу! Отстаньте все!

— Домой потом, — говорил молодой Саша. — Сейчас к врачу.

— Я сам дойду!

— Вы уже дошли. Лежа.

Я почти улыбнулся. Интонация была похожа на мою. Не фраза, не манера полностью, а тот самый сухой, чуть кривой юмор, которым мужчина прикрывает желание не дать другому распасться на куски.

— Это от вас, — сказал взрослый Саша рядом.

— Что?

— Не всё, конечно. Но кусок. Я тогда запомнил, что взрослый может шутить не чтобы унижить, а чтобы стало легче. У нас дома шутки обычно были как подзатыльники. А вы шутили так, что мне не хотелось сжаться.

Молодой Саша наклонился к старику.

— Иван Петрович, спорить будем после ЭКГ. Там у нас целый коридор для ваших лекций.

— Умный больно?

— Нет, уставший. Поэтому давайте сотрудничать, пока я ещё вежливый.

Старик фыркнул, но перестал вырываться.

Картинка сменилась. Скорая. Ночь. Двор. Молодая женщина держит на руках ребёнка, ребёнок задыхается от кашля. Саша приседает, говорит с ним спокойно, показывает фонарик, достаёт ингалятор. Женщина трясётся, повторяет: «Я виновата, я поздно вызвала, я думала, пройдёт». Саша говорит:

— Сейчас не суд. Сейчас дышим.

Картинка сменилась. Лестничная клетка. Пьяный мужчина лежит между этажами, голова разбита, соседи стоят вокруг и ворчат: «Опять он», «Сколько можно», «Сам виноват». Саша надевает перчатки, проверяет пульс, говорит кому-то:

— Сам виноват — это потом. Сейчас он живой.

Картинка сменилась. Улица. Холод. Остановка. Женщина сидит на лавке, лицо перекошено, речь смазанная. Люди стоят рядом и не знают, что делать. Кто-то снимает. Саша подбегает, быстро оценивает, кричит напарнику, потом резко поворачивается к парню с телефоном:

— Или помогай, или убери. Кино закончилось.

Я стоял среди этих сцен и чувствовал, как в груди поднимается что-то совершенно невозможное. Не гордость. Гордость была бы наглой. Не облегчение. Облегчение тоже рано. Скорее ужас перед тем, что добро тоже расходится кругами. Не только дрянь, не только хамство, не только равнодушие, не только украденные идеи и неотвеченные звонки. Даже случайная помощь, оказанная в подъезде с кошачьей мочой и облезлыми стенами, могла потом ходить по городу в форме скорой помощи, наклоняться над чужими телами и говорить: «Сейчас не суд. Сейчас дышим».

— Не надо, — сказал Саша.

— Что не надо?

— Делать из этого красивую историю о себе.

Я посмотрел на него.

— Я как раз не знаю, куда себя деть.

— Вот и хорошо. Пойдите пока без места.

Мы снова оказались на пятом этаже старого подъезда. Велосипед стоял у двери 87. Маленький Саша гладил руль, как собаку. Прошлый я уже ушёл в свою квартиру. За дверью моей бывшей однушки горел свет. Там меня ждали кефир, разбитое яйцо, одиночество, ноутбук и вечер, который я потом не вспомню. А рядом стоял ребёнок, для которого этот же вечер стал маленькой зарубкой на внутренней стене: взрослый может помочь.

— Знаете, что самое смешное? — спросил взрослый Саша.

— Что?

— Я потом несколько раз хотел постучать к вам. Просто так. Показать, что починил тормоза. Или спросить, как цепь натянуть. Но не решился.

— Почему?

— Потому что боялся, что в следующий раз вы будете другим.

Я не сразу понял.

— Злым?

— Обычным.

Он сказал это без упрёка. Но слово «обычным» прозвучало так, будто его положили на весы рядом с Ольгиной фразой. Обычный человек. Как все. Как все не могут. Как все торопятся. Как все проходят мимо. Как все однажды помогают, а потом десять раз не замечают. В этой книге, которую мне теперь листали без моего согласия, «обычный» становилось самым подозрительным словом.

— Может, я и был бы обычным, — сказал я.

— Может. Поэтому я и не постучал. Я оставил вас таким, каким вы были в тот вечер.

— Лучше, чем я есть?

— Не лучше. Просто нужным.

Я отвернулся. На стене возле лестницы кто-то выцарапал ключом слово «ЖИВИ». Без восклицательного знака, без пафоса. Просто четыре буквы на грязной краске. Может, подростки. Может, пьяный сосед. Может, само место, уставшее от своих жильцов. Я провёл пальцем по царапинам. Краска была шершавая.

— Саша, — сказал я. — А я мог бы сделать больше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.